



ВИКТОР КОЛЕСНИКОВ

П
О
В
Е
С
Т
Ь

Меня
есть
Кровья

МАТЬ разбудила меня, едва начало светать. Я сунул в карман кусок хлеба и выскочил на улицу, в теплую, как парное молоко, неподвижность воздуха, отстоявшегося за ночь и еще не тронутого первым порывом зоревых ветров. И сразу услышал тонкий, как комариное зудение, звук. Он приближался, разрастался, ширился, превращаясь в натужный вой идущей на подъем автомашины.

Через несколько минут на перекрестке сверкнули фары. Я вышел на шоссе. Шофер притормозил, я схватился за борт, и несколько рук втянули меня в кузов. Ребята потеснились. Я сел на тугую ком уложенного парашюта и прислушался к разговору, на минуту прерванному моим появлением.

Николай Ковалев, мой старый приятель и постоянный сосед по парте, рассказывал о групповом прыжке американских парашютистов. Они раскрыли парашюты в трехстах метрах от земли. А нам запрещают падать ниже пятисот метров.

Сможет ли кто из нас открыть парашют в трехстах метрах от земли? Спора не было. Ребята сказали — нет. Я промолчал. Николай повернулся ко мне: — А ты что скажешь?

Николай был очень, осторожным парашютистом. Попадая в штопор, он немедленно открывал парашют, хотя по уставу разрешалось штопорить пять секунд. Если стропа перехлестывала купол его парашюта, он раскрывал запасной, не размышляя, сойдет «перехлест» или нет, и часто приземлялся при двух полностью раскрытых куполах. Инструктор называл это дисциплинированностью.

— Можно, Коля. Можно и пониже трехсот.

Ребята настороженно замолчали. Сзади кто-то коротко спросил:

- Сколько?
- Двести пятьдесят метров.
- Сказки Гофмана, — иронически хмыкнул Николай.

Никто не засмеялся. Каждый из них

десятки раз прыгал с парашютом и видел, как прыгаю я. Они сказали — нельзя. Я сказал — можно. Значит, я попробую раскрыть парашют ниже трехсот метров. Смеяться они будут после моего прыжка, если я выдерну кольцо выше двухсот пятидесяти метров.

На аэродроме Николай помог мне надеть парашюты.

—Ты что, всерьез думаешь тянуть до двухсот пятидесяти? — равнодушно спросил он.

— Вполне.

— Брось. Потрепались, и ладно. Двести пятьдесят метров — это пять секунд до земли.

— Четыре с половиной,— насмешливо улыбнулся я. Бойся за меня? На него это не похоже. Он всегда совершенно безразличен, если я затеваю что-либо рискованное. Другое дело, если я выхожу победителем. Тогда он не успокоится, пока не сделает то же самое. За это я его уважаю. Но сегодня он явно волнуется.

— Ничего, Коля, я раскрою парашют ровно в двухстах пятидесяти метрах.

— Как друг, я не советую тебе делать это.

—Как друг, ты должен пожелать мне удачи.

Николай пожал плечами и отошел к брезентовому полотнищу, на котором лежали парашюты. Я посмотрел ему вслед. «Сказки Гофмана». Интересно, где он набрался такой учености?

Когда самолет оторвался от земли, я осторожно выключил прибор-автомат, который, открывает парашют, если парашютист не выдернет кольцо до высоты пятисот метров. Теперь можно тянуть сколько угодно, хоть до земли.

Старенький «ПО-2» широкими кругами медленно набирает высоту. Летчик равнодушно поглядывает вниз и по сторонам, положив левую руку на борт кабины. Выпуклые круглые очки делают его голову похожей на головастика.

По моему сигналу пилот убрал газ над приаэродромным колхозным полем. Я вылез на крыло, включил секундомер, прикрепленный к запасному парашюту, и плавно соскользнул в пропасть. Тугой гул набегающего воздушного потока

перешел в шипящий свист. Рассекая толстый слой воздуха, я стремительно падал к земле. Через несколько секунд я перевернулся на спину и широко развел руки, чтобы не войти в штопор. На затаянном прыжке нельзя видеть землю ниже трехсот метров. Опасно. Теряется чувство высоты, и кажется, что сейчас врежешься в землю. Можно оцепенеть от страха и... тогда все. Надо считать секунды и следить за секундомером.

...Девятнадцать, двадцать, кольцо! Где кольцо?

В минуты опасности мысли бывают четкие, резкие и быстрые, как выстрел. На левой лямке, около сердца, вытяжного кольца не было. И я мгновенно понял, что случилось: вытяжное кольцо выскочило из клапана, повисло на тросике и ушло. Но куда? Через плечо или подмышку? Время есть только на одно точное движение, искать кольцо наугад — некогда.

В этот миг я увидел землю. Она летела на меня, оцетиниваясь вырастающими на глазах иглами колосьев. Я даже видел точку, куда упаду.

«Хочешь жить — борись до последней секунды, а самое главное — в последнюю секунду».

Это говорил мне инструктор, когда я только начинал прыгать с парашютом. Я вырвал кольцо. Спасательного парашюта и сжался в комок. Гулкий хлопок раскрывшегося купола—и через мгновение слепящий удар о землю. Мир почернел и провалился. Шелковый купол парашюта медленно накрыл меня сверху. Через несколько секунд я пришел в себя. — Жив. Жив? Живой!

Путаясь в шелковых полотнищах, я вскочил на ноги и ничком рухнул на землю, прижимаясь к ней всем телом. Так лучше. Так нельзя упасть. Как тихо вокруг... Как хорошо пахнет сухая земля.

Вылезая на четвереньках из-под купола, я глотнул слюну. Земные звуки — стрекот кузнечиков, сухой шорох пшеничных колосьев, песни жаворонков — больно ударили по ушам.

Руки, ноги, позвоночник — все цело. Я

успел сжаться в комок перед ударом. Поэтому я цел и невредим.

Машина скорой помощи, дежурившая на аэродроме, остановилась на краю пшеничного поля. Ломая стебли пшеницы, ко мне бегут спортсмены, врач, укладчик парашютов. Николая Ковалева среди них нет.

Поднимаясь на ноги, я стащил с головы шлемофон. Вокруг зеленый мир. Вверху — голубой. Глухо булькая мотором, крутой спиралью спускается к земле маленький самолетик, покинутый мною пять минут назад. Еще пять минут своей жизни я прожил, в голубом мире. Это был мой пятидесятый прыжок...

Я ПРИШЕЛ в школу, когда было еще светло. В пустых коридорах гулко звучали мои шаги. Свет не зажигали. На лестничных пролетах и в просторных коридорах стояла прозрачная полутьма.

Я поднялся на четвертый этаж. Дверь моего класса была не заперта, но в классе никого не было.

Я сел на свою парту, последнюю в ряду, привычным движением откинул крышку. Прислушался.

В большом здании тихо и пусто. В туалетной комнате через равные промежутки времени звонко падают капли. С улицы, приглушенный двойными рамами, доносится слабый шум движения автомашин. Пусто. Тихо.

Скоро в коридорах вспыхнет свет, школа наполнится людьми, придут одноклассники... бывшие одноклассники. И все они будут говорить, что сегодня у них самый счастливый день.

Придет и Николай Ковалев. А может быть, и не придет. Три года мы сидели на одной парте. Вместе учили уроки. Вместе прыгали с парашютом. Одновременно поступили на пилотское отделение аэроклуба и всю зиму по вечерам занимались теорией. Сегодня нам выдадут аттестаты зрелости. Послезавтра мы выезжаем на аэродром, в лагеря. Начинается настоящая жизнь.

А Николай ушел с аэродрома. Ушел,

как только увидел, что я успел раскрыть парашют. Он с ужасом ждал, что я разобьюсь, но, когда я не разбился — он ушел.

Он, конечно, догадался, что я не по своей воле тянул до этой высоты, что это не смелость, а счастливый случай, но я раскрыл парашют в семидесяти метрах от земли, и толковать больше не о чем. «Сказки Гофмана!» А если этот Гофман трепач, вроде Мюнхаузена?

Николай всегда был самолюбив. Сегодня он понял, что никогда не сделает того, что удалось сделать мне. Впервые за три года нашей дружбы-соперничества.

Пожалуй, он не придет на выпускной вечер. Пришлет за аттестатом мамашу. И послезавтра, когда мы поедем в лагеря, сделает вид, что ничего не произошло. У него есть такая привычка. А я? Я тоже сделаю вид, что ничего не произошло. И обязательно узнаю, кто такой был Гофман.

...Внизу духовой оркестр грянул туш. Начали выдавать аттестаты зрелости. Пора спускаться вниз.

Когда я вошел в актовЫй зал, выдавали аттестаты отличникам. Я не стал протискиваться к сцене, а сел на свободный подоконник в конце зала.

Всю жизнь я терпеть не мог отличников и относился к ним с нескрываемым презрением: ни один из них не лазил на деревья, не разбивал из рогатки стекла, не цеплялся за автомашины. И вообще эти пай-мальчики ничего не умели и всего боялись.

—Дмитрий Шibaев!

Я вздрогнул и начал протискиваться к сцене, энергично работая локтями и плечом. Директор сунул мне в руку аттестат, оркестр сыграл половину туша, в зале раздались жидкие аплодисменты.

—Ну, Дима, — улыбнулся директор, — скажи нам, кем ты хочешь стать?

Этот вопрос он задавал каждому выпускнику.

—Я хочу стать летчиком. Хорошим летчиком. Как Чкалов.

В зале засмеялись и зааплодировали.

Оркестр ни с того ни с сего доиграл вторую половину туша.

Я спрыгнул со сцены и направился к своему подоконнику. На полдороге меня окликнула наша «классная дама».

— Шibaев, вы обязательно должны объяснить мне причину своего выбора профессии.

Я считаю, что это несерьезно. Каждый мальчик хочет быть летчиком или моряком, но обычно это проходит к семнадцати годам. Я считаю...

Разговор обещал быть длинным и, как всегда, нудным. Я заторопился:

— Хорошо, я все вам объясню... когда стану летчиком.

Оркестр играл туш, директор выдавал аттестаты, школьники собирались стать учеными, врачами, педагогами, и только самые скромные говорили о профессии агронома или зоотехника.

«Вы обязательно должны мне объяснить». Встать из-за парты и бодро отбарабанить, как вызубренный урок: «Я всегда мечтал...»

...Я родился трусливым человеком. В детстве я никогда не дрался со сверстниками, не таскал в карманах гранаты и патроны, которые в ту пору можно было найти в любом дворе и даже на улице.

Я завидовал соседским мальчишкам. Они могли разрядить мину, а я панически боялся подходить к ним, когда они щипцами выкручивали взрыватель.

Я боялся всего, хотя время было такое, что даже дети научились ничего не бояться. Была война.

В городе стояла немецкая бронетанковая дивизия, готовясь к броску в сторону Волги. По улицам группами бродили веселые немецкие солдаты, наигрывая на губных гармониках

«Розамунду» и «Великую Германию». Они еще не видели ни города на Волге, ни Курской дуги, ни битвы под Кенигсбергом.

Они любили наблюдать воздушные бои, которые каждый день разворачивались над городом, и еще

могли одобрительно щелкать пальцами: «О, рус пилот научился воевать», когда из воздушной карусели вываливался грязно-зеленый «мессершмитт» и, оставляя за собой багрово-черный хвост дыма, стремительно летел вниз и е тяжким взрывом врезался в землю.

Жители прятались в погребах и подвалах. Каждую ночь город бомбили ночные бомбардировщики «ПО-2»... Немцы презрительно называли их «Рус-фанер», но торопливо лезли в щели, как только в небе слышался стрекочущий звук легкого моторчика.

Я видел, как отступала эсэсовская дивизия. Видел, как тяжелый танк с ярко-желтой ведьмой на лобовой броне мчался вдоль улицы, расстреливая из пулеметов пустые окна домов. Это было бессмысленно и потому особенно страшно.

Когда в город входили наши войска, все жители вышли на улицу, хотя стояли лютые январские морозы.

Впереди две лошади тащили противотанковую пушку. Рядом шагали заморенно-веселые солдаты со звездами на шапках. Лошади скользили на льду дороги, а солдаты пели озорными голосами:

Кони сытые бьют копытами...

Война ушла, а страх остался. Мать бледнела, когда приходил почтальон. Я решил, что он злой и недобрый человек. Увидев в конце улицы его выгоревшую латаную гимнастерку или услышав постукивание его деревянной ноги, я старательно запирал калитку на засов. Однажды почтальон все-таки пробрался во двор и вручил матери конверт, где сообщалось, что мой отец погиб смертью храбрых.

Мать опустилась на крыльцо и закричала, а почтальон продолжал свой путь, размеренно постукивая деревяшкой и оставляя позади себя слезы, горе и отчаяние тех, к кому уже никто не вернется с войны.

Мир, казалось, был населен жестокими и злыми людьми. Каждый день с

компанией ребят я отправлялся в лес воровать сушняк. В лесу жил лесник. Про него, рассказывали жуткие истории. Он бродил по лесу с ружьем и плеткой и нещадно бил всякого, кто попадался ему с вязанкой хвороста. Холить в лес было страшно, но дома не было дров, и я ходил, замирая от каждого шороха в кустах.

Я ненавидел свою трусость, но одолеть ее не мог. Трусость была благоразумна: я собирался залезть на дерево — она шептала: «Если упадешь — убьешься». Я лез в воду — она предупреждала: «Плывать не умеешь — еще утонешь».

У нее была сильная союзница — хворостина, при помощи которой мать учила меня благоразумию. Но я не хотел быть благоразумным. Я хотел быть таким, как все мои сверстники: лазить по деревьям, плавать в пруду, стрелять воробьев из рогатки и мастерить из медных трубок самопалы. Хотел и не мог. Боялся.

Ребята заметили это и частенько поколачивали меня; не по злобе, а в знак своего превосходства. Я старался их задобрить, отдавал им свои школьные завтраки, но они были беспощадны. С отчаяния я пошел в спортшколу учиться на боксера. В спортшколу не приняли, слишком молод, но не прогнали, и я часами сидел в зале, наблюдая за тренировками боксеров.

А однажды мне разрешили надеть перчатки и даже показали, куда и как надо бить.

После этого я отправился на соседнюю улицу к своему заклятому врагу Петьке. «Заклятый враг» Петька помогал матери поливать огурцы. Заметив мои сигналы, он подошел к плетню.

— Чего тебе?

— Пойдем стукнемся.

Петька подтянул штаны, вытер рукавом нос и деловито спросил:

— Куда пойдем?

— На пустырь.

По дороге нас окружили Петькины приятели. Узнав, куда и зачем мы идем, они отнеслись к делу с полной серьезностью: выбрали судей и обсудили

важный вопрос, как драться — до первого синяка или до разбитого носа. Пришли к выводу, что в данном случае спор принципиальный и только дураку неясно, что драться нужно до разбитого носа.

Дрался Петька безграмотно, хотя и сильно. Поэтому я на первой же минуте разбил ему нос и в придачу поставил «фонарь» под глазом.

Авторитетные судьи растащили нас в разные стороны, придирчиво осмотрели мои кулаки (не зажал ли я медный пятак в ладони), освидетельствовали Петькин нос и единодушно присудили мне победу. А самое главное — они приняли, меня в свою компанию как равного.

Окрыленный первой победой, я начал все делать назло своей трусости. Не умея плавать, я прыгнул из лодки в воду. Ребята вытащили меня, когда я вдоволь нахлебался воды. Через месяц я отлично плавал и даже прыгал с обрыва «ласточкой».

Я заставлял себя ночью ходить в лес и забираться на самые высокие деревья. Я научился цепляться за автомашины и однажды проехался таким способом мимо матери, которая сперва остолбенела, а как только я пришел домой — с удвоенной энергией взялась за мое воспитание, сменив хворостину на ремень.

Порку я переносил спокойно, как неизбежное зло. Тем более, что и моих приятелей частенько постигала та же участь.

А через два года я поступил в спортшколу. Три раза в неделю меня молотили, как мешок с песком. Полгода ходил я с распухшими губами и синяками на плечах. Но радость первой победы была близка.

Я стоял в шеренге ребят. Черные трусы, черные майки. На груди серебряный кружок: черная птица распластала косые крылья. Напротив — шеренга. Белые шелковые трусы и майки. Алые полоски на трусах.

Упругий мат под ногами. Я в черном углу. Что-то бормочет на ухо тренер, но я ничего не слышу. Судья щупает перчатки

на моих руках, и я невольно улыбаюсь, вспомнив Петькиных дружков, которые тоже подозревали, что я могу зажать медный пятак в ладони.

Настороженная тишина зала и много глаз. В противоположном углу, совсем близко, презрительные глаза противника. Он видел, как я искал пятый угол ринга на тренировках. У него есть спортивный разряд, а я новичок. Он уверен, что мне сегодня туго придется. Но он не заметил, что мой партнер на тренировке ни разу не применил прямой удар правой рукой, а все три раунда работал в близком бою на коротких боковых ударах.

Я смотрел на противника. Высок, худощав, строен. Этот не полезет в рубку, будет работать на длинных ударах, как и я.

Гонг!

Встретились на середине ринга, пожали руки, разошлись.

—Бокс!

Удар, еще удар! Серия ударов! Он пошел в атаку без разведки и сразу навязал бешеный темп боя. Я еле успевал блокировать удары, уходить от боковых и уклоняться от прямых. Насмешливо улыбался: «Погоди, сейчас выдохнешься. Погляжу, надолго ли тебя хватит». Зал ревел:

—Бей его!

Это меня. Зал всегда на стороне победителя. Теперь я дрался не только с противником.

Противник заметно наглед. Он забывал о защите. Я наносил слабые контрудары. Теперь можно рискнуть. Я опустил правую перчатку и открыл подбородок. Ключнул! Его глаза злорадно блеснули. Сейчас он захочет меня нокаутировать. А хитер. Отвлекает внимание ударами левой. Смелей, смелей. Я открыт. Я не замечаю твоей правой руки. Вот он! Черной молнией мелькнул его правый кулак к моему открытому подбородку. Удар всем корпусом, без страховки. Уверен в попадании и не боится «завала». Это нокаут! Уклон влево, шаг левой вперед. Перчатка чуть правее его подбородка. Удар! Встречный прямой правой.

Противник еще стоял на ногах, но я знал, что он уже не противник. Отскочив в сторону, я видел, как он грохнулся на пол и судорожно вытянулся.

...восемь, девять, десять. Аут! — отсчитал судья.

Нокаутом победил я. Судья поднял вверх мою правую руку. Зал аплодировал. Залу безразлично, кто победит. Он аплодирует только победителю.

ЗАНЯТЬСЯ парашютным спортом мне предложил тот самый Петька, который был «заклятым врагом», а после того, как я разбил ему нос, стал моим закадычным другом. Петька учился в ремесленном училище и носил на кителе синий значок спортсмена-парашютиста. Он пришел ко мне домой и сказал:

—Митя, есть деловой разговор. Хочешь прыгать с парашютом?

Я поперхнулся борщом и свирепо глянул на Петьку. Мать в это время гремела кастрюлями и, к счастью, не расслышала его вопроса. Петька понял.

Как только мать вышла из комнаты, я отодвинул тарелку.

— Конечно, хочу, только это дело сложное. Комиссии там всякие.

— Чепуха, — снисходительно улыбнулся Петька.— Командир звена назначил меня инструктором-общественником. Надо набрать человек десять. Приходи завтра в аэроклуб и тащи ребят, если кто захочет прыгать.

На другой день, прихватив за компанию своего дружка Николая Ковалева, я отправился в аэроклуб. Вечером мы уже занимались теорией прыжка. Теория давалась легко, а вот практика...

Неделю перед прыжком меня мучили по ночам кошмары: лопался парашют, я цеплялся куполом за хвост самолета, ломал ноги, падал, на линию высоковольтных проводов и вообще разбивался от неизвестных причин. Я боялся прыгать, но еще больше боялся не прыгнуть. А прыгнул просто. Вылез на крыло, не глядя вниз. Инструктор положил руку мне на плечо: «Помочь?» Я отрицательно мотнул головой, закрыл

глаза и начал заваливаться вперед. Открыл глаза, увидел под собой бездну и оцепенел от страха. Все во мне кричало: «Назад, в кабину!».

В этот, миг крыло выскользнуло из-под ног, я сорвался и полетел вниз. Три секунды, двадцать метров нестерпимого ужаса, рывок!

Тишина, солнце, синий мир высоты. Разглядывая огромный купол парашюта и туго натянутые стропы, я ликовав: открылся! Парашют открылся! Я прыгнул! Сам!

Раскачиваясь на лямках, я орал во все горло:

Кто привык за победу
бороться,

С нами вместе пускай
запоет.

Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется,
Кто ищет — тот всегда
найдет!

Мне везло. Всегда и во всем: ничто не давалось с первого раза. Всегда приходилось бороться. Чаще всего с собой. Иногда с другими.

На втором прыжке стропой захлестнуло кромку купола, парашюта, и он не раскрылся. Я больше удивился, чем испугался. Я не знал, что теплый воздух тихого майского утра может реветь и выть, если быстро падаешь. Я выдернул кольцо спасательного парашюта. Обычно он называется запасным. В таких случаях — спасательным.

Восемь секунд я падал камнем, восемь секунд замирало сердце у инструкторов и товарищей, восемь, секунд им казалось, что я погиб, растерялся, забыл о спасательном парашюте. На девятой я раскрыл его.

Меня записали в группу спортсменов и разрешили готовиться к соревнованиям. Я прыгал ежедневно. Прыгал с ручным раскрытием, прыгал с виража, со спирали, с пикирования. Прыгал днем и ночью. На соревнованиях я занял первое место и стал чемпионом края по парашютному спорту.

Каждое утро настроение курсантов зависело от поведения «колдуна»,

длинного полосатого мешка на высокой мачте. Если «колдун» бессильно свисал вниз — настроение поднималось. Если же он раздувался и вытягивался — настроение падало. Прыжки отменялись. Прыгать при сильном ветре нельзя.

В один из таких ветреных дней, когда парашютисты сидели на старте и от нечего делать вслух размышляли — куда деваться после школы — к нам подсел командир парашютного звена. Выслушав нескольких ребят, он неожиданно спросил меня:

— Ну, а ты чем думаешь заняться?

Я пожал плечами:

— Не знаю. Работать, наверно, придется. Учить меня дальше мать не может, денег нет. В ремесленное идти не хочется. Мне бы такую работу, как у вас, чтобы каждый день — словно жизнь заново начинается.

Командир звена улыбнулся.

— Жизнь, говоришь, заново начинается?

Такой специальности нет. Но что-то в этом роде могу порекомендовать. Пойдем-ка со мной.

Он подвел меня к старенькому, латаному в десятке мест «ПО-2».

— Садись в первую кабину.

— А парашюты?

— Не надо. Там ремни есть, сейчас тебя техник пристегнет. В зону слетаем.

Тридцать минут скрипел от непосильных: перегрузок старый самолет, тридцать минут я холодел от страха, замирал от восторга и смеялся от счастья.

В тот же день я написал заявление с просьбой принять меня на пилотское отделение аэроклуба.

Заполняя длинную анкету, я долго размышлял над графой — «был ли в оккупации». Я знал, что у матери когда-то были неприятности из-за этой графы, и на всякий случай оставил ее незаполненной.

На мандатную комиссию поступающих вызывали поодиночке. За длинным столом сидели полковник с золотой звездой на кителе и два капитана в полной форме, с орденами и медалями.

Несколько вопросов и вдруг...

— Почему не заполнили графу об оккупации?

Я похолодел: «Вот и все. Теперь ни за что не примут». Голос никак не хотел повиноваться, в горле что-то забулькало.

— Но ведь я не виноват.

— А кто же виноват? — удивился полковник. — Я, что ли?

Я беспомощно озираясь, но видел только строгие и внимательные взгляды. «Не примут, ни за что не примут».

— Вы, вы все виноваты! — крикнул я и выбежал из кабинета. Разреваться не удалось, не успел. Вышел капитан и, взяв меня за локоть, подтолкнул к открытой двери.

Полковник постукивал пальцами по анкете.

— Все-таки объясни, почему графу не заполнил ты, а виноват оказался я.

— А потому... потому, что вы тогда воевали, а не я.

Полковник нахмурился.

— А ты отцу говорил такие вещи?

— Нет, мой отец был настоящий офицер. Он, погиб в Крыму, при высадке десанта. Сидящие за столом переглянулись. Полковник отодвинул анкету и встал.

— Да, твой отец был настоящим офицером.

Надеемся, что и сын будет не хуже. Можешь идти.

Только на улице я сообразил, что меня приняли.

...Духовой оркестр грянул традиционный «Школьный вальс». Официальная часть закончилась. Начался выпускной бал.

СПОРИТЬ с начальством в авиации не принято. И даже вредно. Я и Николай Ковалев наотрез отказались ехать в Ессентуки, где располагался филиал аэроклуба и где нам, почему-то именно нам, предстояло проходить летную практику. Остальные ребята нашей группы оставались на основном аэродроме, а мы... «прибыть, доложить, не пререкаться с командиром».

Мы прибыли в Ессентуки вечером. Шел дождь. Николай решил переночевать у тетки в Кисловодске. Я отправился разыскивать аэроклуб. Знаем мы эту тетку. Знакомы. Имели удовольствие.

Никого из начальства я не застал, но уборщица сказала мне, где есть матрацы и где второй день живут курсанты из Пятигорска, Кисловодска и Минеральных Вод.

В просторном помещении учебного класса стоял ободранный «ЯК-18» со снятыми крыльями. На полу лежали матрацы, подушки, шинели. Несколько ребят ожесточенно забивали «козла». На подоконнике двое играли в шахматы. В углу кого-то били по носу колодой карт, отсчитывая: «Раз, два, три... девять. Все».

На самолете, опираясь спиной на киль и свесив ноги вниз, сидел чернобровый парень с гитарой и пел:

Ах ты, Лимония, страна
Лимония,

Страна чудес и беззакония.

Когда я вошел и остановился на пороге, он рявкнул:

— Встать, кто стоит, остальным лежать подровняться! — и, приложив к виску растопыренные пальцы, доложил:

— Товарищ новичок! Пятая, седьмая и восьмая летные группы «сачков» и «филонов» занимаются культурно-массовыми мероприятиями! Вопросов и замечаний нет?

— Нет, — улыбнулся я. «Веселый парень. Наверняка главный заводила всей компании».

— Тогда у меня есть, — заявил гитарист, спрыгнув с фюзеляжа и подходя ко мне. Остальные ребята повернули головы в нашу сторону.

— Где начинается авиация?

Я опешил от такого нахальства. Мне, чемпиону края по парашютному спорту, этот «салага» смеет задавать такие вопросы! Немедля проучить его и показать, что такое настоящий авиационный шик. Я звонко щелкнул каблуками.

— Авиация начинается там, где кончается дисциплина!

— Отлично,— недоверчиво решил чернобровый и задал следующий вопрос:

— А что такое дисциплина?

— Дисциплина — это настойчивое и успешное стремление казаться глупее начальства!

— Молодец, пять с плюсом! — изумился чернобровый.— А как надо себя вести, получая нагоняй?

— Стой навтыжку и гляди дураком!

Посрамленный экзаменатор значительно посмотрел на ребят, недоумевающе развел рука ми и шагнул ко мне.

— Да ты, оказывается, старый авиационный волк. Дай я пожму твою руку. Меня зовут Сашка Лазоркин. Будем друзьями... Хлопцы потеснитесь. Человек с дороги, устал. Понимать надо.

Через два дня нас вывезли на аэродром. Следом привезли свернутые палатки, пилы, топоры, гвозди. Командир отряда построил курсантов и зачитал по бумажке списки летных групп. В первых трех группах моей фамилии не было.

— Четвертая летная группа. Инструктор Васильев. Курсанты: Рубаев, Ковалев, Остапенко, Лазоркин, Шibaев. Пятая летная группа...

Когда все списки были прочитаны, командир отряда приказал:

— Разойтись по группам и приступить к строительству городка. Задача на сегодня: натянуть палатки и полностью переселиться на аэродром.

К вечеру вдоль линейки выстроились туго натянутые палатки, и в каждой справляли новоселье. Веселее всех было у нас. И палатка самая новая, и доски на нарах самые лучшие, и сено в матрацах самое свежее. И парни один к одному.

Жора Остапенко оказался необычайно деловым человеком. Едва наша группа собралась около сваленных кучей досок, он сказал:

— Ну, братва, теперь не зевай. Публика тут, я вам скажу,— на ходу подметки рвут, изо рта золотые зубы воруют. Дима, ты добывай палатку. Сашка займется досками. Павел и Николай насядут на завхоза, чтобы одеяла, матрацы и прочее

барахло было по первому сорту. А я пройдуся около инструмента.

Жора был парень что надо. Доски он строгал лихо, гвозди забивал с одного удара, а палатку натянул так, что она гудела, как барабан. А когда он взял в руки свою гитару, настроенную на цыганский лад, да запел:

Хорошо в степи

скакать,

Вольным воздухом

дышать...

у соседей пропала всякая охота сидеть в своих палатках и они, один за другим, потянулись к нам в гости.

Веселье было в разгаре, когда откинулся полог и вошел невысокий парень в кожаной куртке, с планшетом под мышкой.

— О, да у меня не летная группа, а своя джаз-банда! Между прочим, я ваш инструктор.

Валентин Васильев.

Планшет он бросил на столик, а сам опустил на нары,

— Так кто у вас специалист по музыкальной части? Ты, что ли? — спросил он Жору.

— Играю немножко,— с подчеркнутой скромностью виртуоза, знающего этикет, ответил Жора.

— Ну, если ты, так сыграй что-нибудь такое, чтоб за душу брало. Люблю. Жора понимающе улыбнулся:

— Это можно.

Я исподтишка разглядывал инструктора. Подстрижен под «бокс». Лоб закрывает тщательно зачесанная челочка. Правую щеку наискось перечеркивает тонкий белый шрам, явный след ножа или бритвы. Слова произносит со смягченными согласными, и выговор у него самый что ни на есть блатной.

Жора пел:

Мы бежали с тобою,
Ожидая тревоги,
Опасаясь погони
Или лая собак.

Инструктор шурился, развалившись на нарах, и смотрел на Жору. Жора смотрел на инструктора и улыбался. Они были

ничуть не похожи друг на друга, но что-то неуловимое общее было в их позах, жестах, улыбках. И Жора заметил это раньше всех нас. Не случайно он запел именно эту песню.

Инструктор молчал, но глаза его все время меняли выражение, не отрываясь от лица Жоры.

И Жора, не переставая петь, то улыбался, то хмурился, то задумчиво поднимал брови.

Они разговаривали. Они спорили. Они даже горячились.

Это было весною,

В наступающем мае.

«Было»,— молчал инструктор. «И мы с тобой одного поля ягода».

«Возможно»,— ничего не говорил инструктор.

«И мы всегда пойдем друг друга».

«Конечно»,— улыбался инструктор.

Жора вошел в азарт:

Я с детства был
испорченный ребенок,

На папу и на маму не
похож.

Я женщин обожал еще
с пеленок...

Он неожиданно оборвал песню, нагнулся и вытащил из чемодана бутылку столичной.

—Товарищ инструктор, надо бы за знакомство. К тому ж, новоселье.

Инструктор непонятно улыбнулся.

—Дай-ка сюда.

Бутылка плавно перелетела через столик,

коснулась ладони инструктора и вылетела из палатки.

— И чтоб я этого добра здесь не видел. Ясно?

Жора наклонился вперед. Зрачки его сузились.

—Товарищ инструктор, зачем же нам портить отношения? — угрожающе-ласковым голосом спросил он.

—О, да ты, я вижу парень блатной,— приятно изумился инструктор и, не меняя позы, рявкнул:

— Встать! Смирно!

Жора вскочил и вытянулся.

— Вот так-то оно лучше будет,—

спокойно продолжал инструктор.— Садись. Я думал, как из моей башки эту дурь выбили, так больше блатных и не осталось, а тут, оказывается, еще один экземпляр сохранился. Отношения нам портить ни к чему, это ты дело говоришь. Мы еще друзьями будем. Но если увижу кого выпивши — вот этой рукой с аэродрома в шею выгоню. Ясно? А теперь к делу: с завтрашнего утра начинаем заниматься наземной подготовкой. Старшиной летной группы назначаю Шибаева. После меня он для вас командир по всем вопросам. Подчиняться безоговорочно. Остапенко, слышишь?

— Слышу,— буркнул Жора. — Громче!

— Слышу!

— Вот так.

СЕРЕБРИСТЫЙ самолетик вычертил в воздухе неуклюжий переворот и ударился о землю.

— Смирно!

Я вытянул руки по швам и замер. Мои злые глаза встретились с другими глазами: серыми, холодными, жесткими.

—У мальчика есть нервы? Он показывает свой характер? Отлично. Истерики не будет?

Тогда отставить нервы и повторить все сначала. Выполняйте!

Инструктор издевался надо мной. Шестнадцать раз я отлично делал наземное упражнение, а он коротко бросал: «Плохо. Повторить». Шестнадцать раз я делал одно и то же, на семнадцатый взбесился и швырнул макет на землю.

—Живее!

Я наклонился и поднял с земли выточенный из алюминия самолетик. Я повторял упражнение шестнадцать раз. Молча. Стиснув зубы. Избегая взгляда инструктора.

— Смотрите на меня!

«Самодур! Сволочь!» — говорили мои глаза.

«Психуешь?— смеялись в ответ серые.— Я из тебя сделаю человека. Ершистый парень, люблю таких, сам такой, а психовать отучу».

«Врешь!» — исподлобья отвечал я

взглядом.

«Отучу! Не таких обламывал»,— ловили ... мой взгляд серые.

Тогда мне казалось, что инструктор злоупотребляет властью, издевается надо мной. Позже я понял, что он вырабатывал у меня выдержку.

—Отлично. На сегодня довольно.

Я повернулся и пошел к палаткам. Вместе со мной поднялись и пошли остальные.

—Стой! Кругом! Это еще что за шайка лейка? Вы что, не знаете обязанностей старшины летной группы?! Постройте группу и отведите в лагерь.

Теперь командовал я. Неуверенным и хриплым мальчишеским голосом. Краснея оттого, что мне не удавалось отдавать такие резкие и металлически-властные команды, как делал это инструктор.

—Налево равняйся! Смирно! Направо! Шагом марш!

Всю зиму, изучая в аэроклубе теоретические дисциплины, я мечтал о полетах. Скорее бы в кабину самолета. И вот началась летная практика. Летная... Муштра, маршировка, нагоняи за любую мелочь. Скука.

В первый же день я получил внеочередной наряд. Во время, обеда расстегнул воротник гимнастерки и забыл застегнуть его, становясь в строй. Командир второго звена, который обедал вместе с нами, заметил это, остановил строй и вызвал меня.

—Это что такое? Кто разрешил расстегивать воротничок?

Я что-то буркнул в ответ.

— Смирно! Летчик начинается на земле. В авиации нет мелочей, запомните это! Наряд вне очереди!

Ночью я неумело скоблил ножом картошку на кухне и проклинал этого педанта, который всегда блестел, как надраенная медная пуговица: от хромовых сапог до свежевыбритых щек. Мог ли я знать, что через пять лет вместе с двумя капитанами и майором авиации, его бывшими курсантами, буду нести на кладбище красную крышку его гроба?

Мог ли я знать, что он погибнет при выполнении служебного задания только потому, что не успеет доказать курсанту, что авиация начинается на земле и что в авиации нет мелочей. Погибнет при аварии, которая не произошла, если б он вовремя послал курсанта чистить картошку на кухню, как послал когда-то меня.

ПОЛЕТЫ начались на рассвете.

Я выстроил группу около своего самолета, зеленого тупорылого «ЯКа», лихо козырнул инструктору и доложил:

—Четвертая летная группа к полетам готова!

Инструктор скользнул по шеренге быстрым внимательным взглядом.

— Готова, говоришь? А почему Рубаев не брит? Почему у Лазоркина пуговица на комбинезоне оторвана? Ты сам когда последний раз сапоги чистил?

— Вчера.

— Вот то-то и оно. Чтобы больше в таком виде на полеты не являлись. Ясно?

Инструктор открыл планшет, посмотрел в список.

—Первым летит Шибаяев. За ним поочередно: Лазоркин, Ковалев, Остапенко, Рубаев.

Вопросов нет?

Я быстро накинул на плечи пилотский парашют, торопливо застегнул замок и забрался в кабину. Техник провернул пропеллер (авиаторы называют его «винт») и помог подготовить мотор к запуску.

Впереди самолетов стоит старший техник отряда. В руках у него два флажка: белый и красный. Взмах белым, красный внизу.

Я нажал пусковую кнопку. Винт завертелся, взревел мотор. Выждав несколько секунд, я включил рацию.

—Сбавь обороты, управление не трогай, — приказывает по радио инструктор.

Сквозь треск и свист слышу в наушниках:

— Я первый, разрешите выруливать!

— Первому «добро»!

Крайний самолет трогается с места и

рулит к центру аэродрома.

— Я второй, разрешите...

— «Добро» второму!

— Я третий...

Наша очередь. Валентин дает газ и начинает рулить. В центре аэродрома стоит машина — радиостанция. Недалеко от нее выложены посадочные знаки и красными флажками размечена линия старта.

Заруливаем в ворота между двумя флажками. Инструктор увеличивает обороты мотора, держит машину на тормозах.

— Четвертому взлет!

— Четвертому взлет «добро»!

Валентин отпускает тормоза и дает полный газ. Разбег, поднимаем хвост. Стремительно летит под крылья земля. Толчок! Летим, сбивая стойками шасси головки ромашек. Высота несколько сантиметров, скорость около ста километров.

Инструктор тянет штурвал на себя. Захватило дух. Под крыльями быстро плывет граница аэродрома, огороды. Какая-то женщина, опираясь на лопату, смотрит на наш самолет и остается позади.

Машина ложится на левое крыло. Первый разворот. Гул мотора становится тише. Я глотаю слюну, и вибрирующий рев мотора снова врывается в уши. Набираем высоту. Второй разворот. Летим вдоль аэродрома.

— Где аэродром? — неожиданно спрашивает инструктор.

Я показываю пальцем. Показывать неудобно, кабина закрыта пластмассовым фонарем, руку наружу не высунешь.

— Правильно. Ворон не лови, следи за землей, и все будет в порядке. Как самочувствие?

Я блаженно улыбаюсь и показываю большой палец.

Да, «ЯК-18» — это не дряхлый «ПО-2». И кабина закрыта, как у настоящего истребителя, и тормоза есть, и шасси убираются в полете. Компас укреплен над приборной доской совсем как пулеметный прицел. А скорость!

Инструктор выполнил третий разворот

и убрал газ. Самолет опустил нос и перешел на планирование. От неожиданного ощущения я задохнулся, с усилием глотнул воздух и громко рассмеялся. Казалось, что все внутри меня: зашевелилось. Нечто подобное испытываешь, падая в затяжном прыжке вниз ногами, нота́м это длится доли секунды, сразу переворачиваешься на живот или на спину, и ощущение невесомости исчезает, а здесь оно продолжается почти пять секунд.

Четвертый разворот — на планировании. Зашипел сжатый воздух. Инструктор выпустил тормозной щиток, и скорость сразу упала до восьмидесяти километров в час. Сейчас коснемся земли. Сядем с недолетом, до посадочных знаков далековато.

Валентин быстро и плавно тянет штурвал, на себя. Земля теперь не приближается, а летит под крылья. Зато приближаются посадочные знаки. Но вот они отодвигаются и слегка, поднимаются вверх. Секунда, другая... Белые-полотнища посадочного «Т» ныряют под левое крыло, и в тот же миг самолет касается земли колесами. Все. Посадка совершена. Нет, не все. Валентин дает газ. Разбег, толчок, летим. Набираем высоту.

Вдруг в наушниках шлемофона что-то щелкает, и хрипловатый голос инструктора приказывает:

— Бери управление, не волнуйся, следи за моими движениями и делай то же самое.

— Уже? — растерялся я. — А я думал...

— Что ты думал, расскажешь на земле. Сейчас болтать некогда, полетное время идет.

Бери управление.

Я торопливо схватил штурвал, положил ладонь левой руки на рычаг газа и поставил ноги на педали.

— Вот это набор высоты, — инструктор слегка приподнимает нос самолета над горизонтом, — обороты мотора максимальные. Наберешь метров сто — сбавь оборотов на семьдесят. Верхний обрез капота выше горизонта. Лети!

Делать «то же самое» оказалось не так-

то-просто. Теперь мне было не до ощущений. Управляемый мною самолет зарывался носом, валился на крыло и вообще вел себя, как телега на ухабистой дороге. Перед глазами плясали стрелки двух десятков приборов, и не было никакой возможности разобраться в их показаниях и уследить сразу за всеми. Если я следил за линией горизонта, какая-либо из стрелок обязательно ползла за недозволённую ей черту, а если я начинал разглядывать приборы, самолет опускал нос и стрелки опять начинали угрожающе шевелиться.

Время от времени я слышал в наушниках спокойное: «Плохо, повтори сначала».

Это продолжалось десятки раз, но теперь я не злился. Я сам видел, что управляю не только плохо, а вовсе ни к черту, и повторял одно и то же упражнение десятки раз.

Из кабины я вылез унылый, абсолютно уверенный в своей бездарности. И только на разборе полетов, когда инструктор начал говорить об ошибках остальных курсантов, я немного воспрянул духом. У меня их оказалось не так уж много: я резко работал рулями и на посадке смотрел в одну точку, а надо было скользить взглядом по земле.

В палатке, уже без инструктора, все ошибки были разобраны и обсуждены заново. Лучше всех летал Николай Ковалев. Жора умудрился потерять из виду аэродром. Сашка «зажимал» управление, за что получил самый большой нагоняй от Валентина. А Пашка Рубаев отчаянно трусил и, когда инструктор приказал ему взять управление, испуганно ответил: «Ну уж нет. Ты меня сюда привез, ты меня и на землю спускай». Над ним смеялись больше всего, но он не обижался и даже обещал: «Погодите, я еще лучше вас летать буду». Хохот вспыхивал с новой силой, а Пашкино скуластое лицо заострялось, выгоревшие брови сходились на переносице, и взгляд спокойных серых глаз становился колючим и неприветливым.

Через шесть лет он действительно летал

лучше всех нас, испытывая новые сверхзвуковые самолеты.

НАЧАЛИСЬ летные будни. Подъем на заре, физзарядка, полеты, разбор полетов, отдых, ужин, отбой. И все по часам, по распорядку, с точностью до одной минуты. Абсолютное однообразие. Но это только внешне. А на самом деле...

С каждым полетом самолет становился «умнее». Однажды он «сам», оторвался от земли на взлете. А когда на следующем полете самолет «сам» выполнил разворот, я забеспокоился и сообщил об этом инструктору. Валентин рассмеялся и показал ладони своих рук:

— Я не держусь за штурвал. Все в порядке. Начинаешь управлять автоматически. Как только самолет «сам» будет делать все от взлета до посадки — выпущу лететь самостоятельно.

Через неделю я сделал еще одно открытие: с каждым полетом на приборной доске я видел все меньше приборов. И только тот, чьи показания отклонялись от нормы, словно увеличивался в размере и лез в глаза.

Жизнь разделилась на две половины: в полете и на земле. И хотя редко приходилось летать больше часа в день, но это был час такой жизни, что остальная часть суток проходила совсем незаметно.

Вечерами к нам в палатку, приходил инструктор и предлагал:

—Споем что-нибудь?

Жора и Сашка брали свои гитары, мы устраивались на траве за палатками и пели.

Звон гитарных струн, словно магнитом, притягивал все население палаточного городка, и около нас мгновенно образовывалось кольцо сидящих на траве курсантов. Среди инструкторов было немало любителей послушать гитару, а командир нашего звена сам был заядлым гитаристом.

Иногда Валентин и Жора вдвоем пели протяжные украинские песни. Голос у Жоры был низкий и густой, а у Валентина — высокий и звонкий.

Я любил слушать эти песни лежа на спине и глядя в ночное небо, где роились мохнатые южные звезды. Мягкий степной ветер ровно тянул с аэродрома. Тонко пахло чобором. Кричали в траве перепела.

Ровно в десять часов, а иногда чуть позже, если песня была особенно хороша, командир отряда жалобно вздыхал:

—До утра бы слушал, но... пора спать. Быстренько сделайте поверку и — отбой.

Курсанты неохотно поднимались с земли и шли строиться. Сразу после поверки дневальный колотил куском железной трубы в подвешенный рельс, и все расходились по своим палаткам.

Когда мы забирались под одеяла, Сашка шепотом начинал что-нибудь рассказывать. Интересных книг он прочитал великое множество и каждый вечер рассказывал что-либо новое.

Однажды он рассказал такую историю о борьбе первобытных людей за огонь, что я решил во что бы то ни стало сам прочитать ее и спросил:

—Саня, а где можно достать эту книгу? — У меня есть, могу дать, — ответил Сашка, натягивая одеяло на голову и укладываясь поудобнее.

Я НИКОГДА не спрашивал Николая, почему он не пришел, на выпускной вечер. И сам он никогда не вспоминал об этом. В наших отношениях все осталось по-прежнему. Но инструктор назначил меня старшиной летной группы, и Николай должен был подчиняться мне. Может быть, только поэтому он стал избегать откровенных разговоров со мной. Хотя я никогда и ничего не приказывал ему.

Каждую субботу курсантов отпускали в увольнение. Сторожить пустые палатки, когда все ребята отдыхают в парке или на озере, — занятие не очень приятное.

Составляя график воскресных нарядов, я записал Николая последним. Почти месяц он был свободен по воскресеньям. Когда настала очередь Николая, я сказал ему:

—Коля, будешь дневалить в воскресенье. Твоя очередь.

Но у Николая были свои планы на воскресенье.

— Я не буду дневалить.

— Как это не будешь?

— Я поеду к тетке.

— Коля, не надо так, — меня начал злить его тон. «Поеду... не буду...», словно только от него зависит, поедет он или нет. — Если у тебя есть неотложное дело на воскресенье — договорись с ребятами.

— Но ведь ты мне друг.

— Да, и я три недели освобождал тебя от воскресных нарядов, хотя по алфавиту ты должен был дневалить первым.

— Назначь, кого-либо из ребят.

— Я не могу назначить кого-либо из ребят. Дневалить будешь ты.

—Но я хочу...

— Знаю.

—Тогда сам останься. Ты ведь тоже ни разу не дневалил в воскресенье.

— Нет. Дневалить будешь ты. Твоя очередь. И ты отлично знаешь, почему я не дневалил. Старшина летной группы освобожден от воскресных нарядов. У меня дел хватает. И вообще, хватит торговаться. Дисциплина есть дисциплина. Я приказываю тебе дневалить, и точка.

Сам того не желая, я задел Николая за больное место. Он злобно посмотрел на меня.

—Ну, знаешь, не тебе о дисциплине, говорить! На прыжках... видел я твою дисциплину.

Ага. Вот он когда о прыжках вспомнил. Долго молчал. Ну ладно, Коля, поговорим по-иному.

—То, что ты называешь дисциплиной, я называю трусостью. Понял? А теперь, раз ты такой дисциплинированный, — смир-р-но! Кру-гом! Шагом марш!

В понедельник полетов не было. Работали на матчасти, готовили самолет к полетам.

Нашей группе не повезло. Работы было много, а Сашку и Жору отправили возить бензин со станции.

Я знал, что Николай имеет право не работать после наряда, но вдвоем с

Пашкой мы ничего не могли сделать.

Я позвал Николая к самолету и вручил ему ведро.

— Коля, ребята поехали на станцию, помощи немножко. Сходи за маслом.

Николай выплюнул окурок:

— А ты знаешь, что я не обязан сегодня работать?

— Знаю, — спокойно ответил я.

— А если знаешь, так и катись ко всем чертям! — Николай повернулся и пошел прочь от самолета.

— Стой! — я схватил его за рукав. — Если ты так хочешь разговаривать, я тебе приказываю работать. Понял? Можешь вечером доложить инструктору, что я заставил тебя работать после наряда.

Николай презрительно усмехнулся:

— Плевал я на твои приказы.

Он отшвырнул ведро ногой и пошел к палатке.

Пашка Рубаев в это время драил мокрой тряпкой брюхо самолета. Услышав последние слова Николая, он неторопливо вылез из-под фюзеляжа, взял ведро и молча пошел за маслом.

А когда мы зачехлили машину и начали мыть руки в ведре с бензином, Пашка спросил:

— Митя, ты давно знаешь Николая?

— Три года.

— Ты будешь докладывать о нем Валентину?

— Не знаю.

— Давай я поговорю с Николаем? А ты пока инструктору ничего не говори.

Но Николай не стал разговаривать с Пашкой. И со мной не стал. Заявил, что говорить нам не о чем. Старая дружба кончилась.

Вечером я доложил инструктору о поведении курсанта Ковалева,

— А ну, зови его сюда, — приказал Валентин.

Николай сразу оценил обстановку. Но он и виду не подал, что знает, зачем его вызвали. Валентин нахмурился.

— Что у вас произошло с Шibaевым?

— Он не имел права заставлять меня работать, — сказал Николай, не глядя на инструктора.

— Правильно, не имел. Завтра летать не

будешь, пойдешь в наряд.

— Вы не правы, товарищ инструктор. — Николай не поднял голову.

— Не прав? — Валентин прищурился. — А ты пойдешь пожалуйста командиру отряда. Скажи, что я наказал тебя за отказ выполнять приказание старшины летной группы. Он тебе еще пару внеочередных добавит. Ясно?

САШКА жил в Кисловодске, в верхней, наиболее красивой и тихой части города.

Мы долго поднимались в гору, пока Сашка не остановился около чугунных узорчатых ворот, густо оплетенных диким виноградом.

— Здесь? — неуверенно спросил я.

Сашка толкнул рукой калитку и повернулся ко мне.

— Если папаша будет ругать авиацию — не обращай внимания. Он у меня с предрассудками.

В глубине сада стоял старинный двухэтажный особняк из серого камня. К нему вела широкая песчаная дорожка, по обеим сторонам которой цвели розы самых неожиданных расцветок.

— Отец увлекается, — объяснил Сашка, — сам новые сорта выводит.

— И вы одни живете в этом домище?

— Ну, что ты, — рассмеялся Сашка, — конечно, нет. До революции этот дом принадлежал моему деду, тут же у него была клиника, а сейчас здесь живут четыре семьи.

— И дед с вами живет?

— Нет, он погиб на войне.

— А разве стариков брали?

— Добровольцем пошел. Первокласный хирург был, как его не возьмешь. Отец с ним тоже одно время работал в полевом госпитале, но дед его живо в тыл отправил: «У тебя, Аркаша, — говорит, — на передовой работоспособность понижается, в тыловом госпитале от тебя больше проку будет». Отец до сих пор на него злится.

Сашка взялся за резную, ручку парадного и позвонил. Дверь открыла пожилая, тщательно напудренная дама, с

пенсне на носу.

— Мама, знакомься. Это Митя. Мы с ним в одной летной группе.

— Здравствуйте, Дима,— быстро улыбнулась дама.— Проходите в комнаты.

Я неуверенно вошел в гостиную.

— Аркадий! — пропела Сашкина мать.
— У нас гости.

Из кабинета выкатился кругленький, толстенький мужчина и быстро подошел к нам, на ходу протягивая обе руки.

— Здравствуй,— племя молодое, незнакомое? Вы Сашин товарищ? Очень рад! Аркадий Иванович.

Про себя я удивился, с чего бы ему радоваться? — но промолчал. А он не унимался:

— Маша, мальчики, конечно, голодны. — И сразу, прежде чем мы успели что-либо сказать, всплеснул руками, словно отталкиваясь от нас. — Нет, нет, не спорьте.

После завтрака Сашкин отец начал разговор. Я помалкивал, боясь попасть впросак.

Но когда разговор коснулся авиации, я оживился. Говорил Аркадий Иванович темпераментно, жестикулируя и расхаживая по комнате. Мне он понравился. Он говорил, что работа летчика — опасная работа, и я с радостью соглашался с ним — понимает человек, что такое авиация!

Но, взглянув на Сашку, я понял, что дело неладно. Он медленно раскачивался в кресле-качалке, сцепив на колене пальцы, и пристально следил за отцом. Брови у него сошлись в одну широкую линию, глаза похолодели, лицо напряглось, словно застыло. Такие окаменевшие лица я видел на ринге, когда встречался с сильными противниками.

Аркадий Иванович распалялся все больше:

— Нет, вы сами подумайте,— обратился он ко мне.— Разве может умному человеку прийти в голову мысль стать летчиком?

— Аркаша! — поморщилась Сашкина мать.

— Что «Аркаша»? — огрызнулся Аркадий Иванович.— У нас семейный разговор, и я беседую с товарищем Александра.

— Что такое летчик? — продолжал он.
— С точки зрения социальной — это шофер, имеющий офицерское звание. А с точки зрения житейской — это человек, не имеющий даже высшего образования. Я никогда не ущемлял свободу Александра, я не запрещал ему прыгать с парашютом, хотя мне и трудно понять, какое удовольствие может доставить этот рискованный вид спорта. Но это было увлечение, а ведь нельзя же руководствоваться только увлечением при выборе профессии. Я еще могу понять желание стать авиаинженером, инженером, но рядовым летчиком — извините. Этого я понять не могу. У нас интеллигентная семья, мы всегда воспитывали Александра в духе уважения к человеческому разуму, а он... «Папа, я буду летчиком». У нас в семье все врачи. Что может быть, благороднее этой профессии? Что может быть гуманнее? А какой гуманизм может быть у летчика-истребителя? Какой?

Я резко выдохнул воздух. Хватит. Сейчас я выскажу этому дяденьке все, что думаю.

— Не знаю, может ли мысль об авиации прийти в голову умному человеку, но я тоже хочу стать летчиком. А что касается гуманизма, то военный летчик обязан быть гуманистом.

— Гуманистом? — Аркадий Иванович посмотрел на меня так, словно я сказал непристойность. — А вы знаете, что термин «истребитель» происходит от глагола «истреблять»? То есть уничтожать? Гуманизм в уничтожении?

— Папа, что уничтожать? — медленно спросил Сашка.

— Это совершенно безразлично, — заволновался Аркадий Иванович.

— Нет, не безразлично. Ведь ты же был на войне.

— Был, совершенно верно. Но я за четыре года войны не убил ни одного человека, а спас от смерти — тысячи. Я и

на войне был гуманистом.

— Да, но ты спасал людей, которые убивали, во имя гуманизма.

Я внимательно следил за спором. Кажется, Сашка зашел папаше в хвост и сейчас даст залп.

— Хорошо, хорошо, я с тобой согласен.— Аркадий Иванович сердито сел в кресло. — Но тогда объясните мне, просвещенное юношество другое.

Он повернулся ко мне.

— Вы знаете, что самолет может упасть?

— Знаю.

— А что происходит тогда с летчиком?

— Он выбрасывается с парашютом.

— А если не сумеет?

— Тогда он разбивается вдребезги.

Сашкина мать охнула. Зато Аркадий Иванович обрадовался.

— Вот именно, вдребезги. И я спрашиваю, зачем этот риск в мирное время?

— Как это зачем? — растерялся я.

Сашка насмешливо улыбнулся.

— Папа, что ты делаешь, если у тебя умирает больной? Ты выясняешь причину путем вскрытия. Так?

— Так.

— И ты забываешь о ней, когда лечишь других больных? — Разумеется.

— То же самое происходит в авиации. — Сашка откинулся в кресле и начал раскачиваться.— Твоя ошибка в неправильной постановке вопроса. Ты бы сразу спросил, зачем человеку лететь, если ему и на земле хорошо?

— Ну, ты это брось! — вскипел Аркадий Иванович, — «Рожденный ползать — летать не может». Это я уже слышал. Оскорблять отца ты научился. Можно подумать, что я тебе зла желаю.

— Нет, папа, ты всегда желаешь мне только добра, — устало улыбнулся Сашка.— Вся беда в том, что я не хочу быть ни врачом, ни педагогом, ни даже авиаконструктором, я хочу стать летчиком. Прекратим этот разговор. Я уверен, что дед бы меня поддержал.

— Твой дед для меня не пример! Он и

погиб из-за своей глупости! — Аркадий Иванович вышел из гостиной и хлопнул дверь. Следом за ним тихо вышла Сашкина мать.

Из-за двери доносился возмущенный голос Аркадия Ивановича:

— Нет, Маша, я не могу понять, откуда у него эта мания. Жить в интеллигентной семье, любить музыку, тонко чувствовать Лермонтова, Блока и... мечтать о профессии летчика!

В библиотеке, которая одновременно была кабинетом Сашкиного отца, вдоль стен до потолка стояли стеллажи с книгами. Такую уйму книг я видел только в городской библиотеке.

Сашка рылся на полках, а я разглядывал кабинет. Над письменным столом висел большой портрет старика с крутым лбом, пронзительными глазами и аккуратной бородкой клинышком.

— Саня, кто это? — спросил я.

— Где? — обернулся Сашка. — А, это мой дед.

— Знаешь, он здорово на тебя похож.

Сашка рассмеялся.

— Вероятно, все-таки я на него похож, а не он на меня.

— Ну, это все равно,— я отошел от портрета.

Разысканная Сашкой книга называлась «Борьба за огонь». Я сунул ее в карман, и мы вышли из кабинета.

До калитки нас провожала Сашкина мать и так подчеркнуто гостеприимно приглашала меня заходить еще, что я понял, насколько неприятен для хозяев был мой непрошенный визит.

Спускаясь по улице, я прямо сказал Сашке:

— Знаешь, я больше к тебе домой не приду.

Сашка смущенно улыбнулся:

— Вообще-то отец у меня неплохой, но авиацию терпеть не может.

— И часто он тебе устраивает такие семейные беседы?

— Года полтора беседуем.

— Да, туго тебе приходится,— посочувствовал я.

ПОДХОДЯ к четвертому развороту, я

понял, что поздно убрал газ и слишком медленно теряю высоту. Я еще ниже опустил нос самолета, стрелка указателя скорости резко пошла вперед. Все равно не удастся сесть около посадочных знаков. В таких случаях положено уходить на второй круг. Что же делать? Щиток!

Я выпустил тормозной щиток сразу после разворота.

— Как мертвому припарка! — насмешливо фыркнул в задней кабине инструктор.

Под крылом, плывет граница аэродрома, неумолимо приближаются посадочные знаки, а до земли еще добрая сотня метров.

— Ну что, поехали на второй круг? — спрашивает по радио инструктор.

— Сяду, — упрямо отвечаю я.

— Куда? В огороды за аэродромом?

Валентин еле сдерживает злобу. Сегодня я летаю как никогда бездарно.

На взлете раньше времени оторвал самолет от земли, не удержал его и так стукнулся колесами, что стекла приборов чуть не посыпались на пол; на первом развороте чуть не положил машину на спину, на втором растянул круг, чуть не таранил кого-то на третьем и, в довершение всего, промазал на посадке.

— Сяду около знаков.

— Давай! — голос Валентина дрожит от злости.

— Буду терять высоту скольжением, — неуверенно говорю я, ожидая, что инструктор запретит это делать и можно будет со спокойной совестью уйти на второй круг. Но Валентин молчит.

Я отворачиваю нос самолета вправо, затем даю штурвал влево вперед и до отказа жму правую педаль.

В открытую кабину врывается ветер. Выдвинув левое крыло вперед и вниз, машина стремительно теряет высоту.

Инструктор дергает за штурвал, но я зажал его намертво. Перед самой землей вывожу самолет из скольжения.

— Ты знаешь, сколько секунд оставалось до земли? — клоочет в наушниках разъяренный голос Валентина.

— Знаю. Пять секунд.

Толчок! Приземлился около знаков. Начинаю тормозить. — Что с тобой сегодня творится? — сердито спрашивает Валентин, когда мы сруливаем с посадочной полосы.

Я молчу. Не буду же я объяснять ему, что вчера вечером ходил с Жорой и Пашкой, в «самоволку», и спал всего два часа.

— Отдохни на старте. Через час еще слетаем.

Молча киваю головой.

В кабину садится Жора. Самолет делает круг над аэродромом, садится с большим перелетом и сразу поворачивает к стоянке. Что-то неладно.

Приказываю ребятам построиться и веду их к самолету. Инструктор нетерпеливо машет рукой.

— Хлопцы, бегом! — приказываю я.

— Постройте группу, — приказывает мне Валентин.

Ребята быстро строятся.

— Группа построена!

— Станьте в строй.

— Слушаюсь!

— Налево равняйся! Смирно!

Валентин молча расхаживает вдоль строя. Минута, вторая, третья. У меня затекла нога, я слегка ослабляю ее в колене. Валентин оглядывается.

— Кому была команда «смирно!»?

Я вытягиваюсь и замираю. Инструктор молча вышагивает вдоль строя. Десять шагов вперед, десять назад. Затем останавливается.

— Лазоркин и Ковалев, в палатку шагом марш! Остальным сомкнуться.

Теперь я начинаю понимать, что произошло. Но как он узнал? В городе, нас никто не видел. На аэродром мы вернулись, когда все спали.

— Шибаев, во сколько часов вернулись. На аэродром?

Я вздрагиваю.

— В три часа ночи.

— Все вместе?

— Да.

— Так, — Валентин снова расхаживает вдоль строя. — Увеселительная прогулка во главе со старшиной летной группы. А затем двадцать попыток поломать

самолет. Команды «вольно» не было, стоять смирно! — рывкает он на Жору, который переступил с ноги на ногу.

— Что? Дюже ле-ды-чи-ки? — ядовито спрашивает инструктор. — На первый раз отстраняю всех троих от полетов. Шibaеву два наряда вне очереди и никаких увольнений на воскресенье. Что, недоволен? Могу еще добавить. Чин повыше — спрос побольше. Ясно? Разойдись!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ я остался на аэродроме отбывать наказание. Сашкину книгу я уже прочитал и попросил его привезти что-нибудь еще.

— Хочешь, я привезу тебе Лермонтова?

— Лермонтова мы в школе проходили. Ты мне что-нибудь интересное привези.

Сашка вытаращил на меня глаза.

— Лермонтов не интересен? Да ты его читал?

— Конечно, нет. Я ж тебе говорю — мы его в школе проходили.

Сашка расхохотался:

— Чудак! Это же... писатель!

— Ну да, — я недоверчиво улыбнулся. — Рассказывай. Стали бы интересного писателя в школе проходить. Там одна скука — Пушкин, Гончаров, Обломов. Всякие художественные особенности, образы главного героя, вступление, изложение, заключение — мура!

Сашка озадаченно почесал затылок.

— Я все-таки привезу тебе Лермонтова. Прочитаешь, а там вместе решим, стоящий он писатель или нет.

Сашка говорил вполне серьезно и не похоже было, чтобы он смеялся надо мной.

— Ладно, вези Лермонтова, — согласился я.

Курсантов отпустили в увольнение на весь день. С утра они уехали в город. На аэродроме остались только дневальные. Я сел в «дежурке» читать, курс учебно-летней подготовки.

Около полудня ко мне заглянул Жора.

— Ты чего так рано вернулся? — удивился я, зная, что он отпущен до вечера.

— Да я на минуту. Можно твою рубашку надеть? Моя грязная. Хочу в кино сходить.

Уходя в увольнение, ребята переодевались в гражданскую одежду.

— Возьми в рюкзаке.

Жора ушел. Через час меня сменили, и я пошел отдохнуть в палатку. Завернувшись в простыню, на нарах лежал Пашка Рубаев. Отсыпался после ночного наряда. Услышав мои шаги, он поднял голову.

— Жора приходил. Взял твою рубашку.

— Чего ты полог не поднимешь?

Дышать нечем.

— А я уже притерпелся, не замечаю, — Пашка сладко зевнул и перевернулся на другой бок.

Я взял одеяло и отправился отдыхать под самолет.

В понедельник, сразу после работы на материальной части, курсантов повезли в баню. Я решил ехать вторым рейсом. Техник просил проверить, не барахлит ли бензиновый насос. Я запустил двигатель и полчаса гонял его на всех режимах. Мотор работал превосходно.

Когда я выключил мотор и вылез из кабины, ко мне подошел Женька Горяев, парень из пятой летной группы.

— Дима, можно тебя на минутку?

Вид у него был растерянный и смущенный.

— Понимаешь, такое дело. Ты только не подумай, что я хочу...

— Что ты мямлишь? — удивился я. — Говори, в чем дело.

— В общем, у меня сперли пиджак.

— Не может быть! — оторопел я. — Наверно, кто-нибудь из ребят надел в увольнение.

— Я тоже так думал, — ответил Женька. — Но сегодня уже понедельник, а пиджака нет. Спрашивал ребят — никто не брал. А пиджак новенький, стильный.

Новость была настолько неожиданной, что я не знал, что и сказать. Женька молча смотрел на меня.

— Ладно, Женья, ты не волнуйся, пиджак мы найдем. Я дневалил, я отвечаю за пропажу, я и займусь этим делом. Ребятам пока ничего не говори.

Торопливо зачехлив машину, я помчался разыскивать Сашку, но он уехал в баню первым рейсом, и только вечером я смог рассказать ему о случившемся.

— А кто вчера был на аэродроме?— спросил он.

— Трое дневальных, но они с аэродрома не уходили. Рубаев отдыхал после наряда. Вроде все. Да, Жора заходил на несколько минут.

— Вот он его и украл.

— Да ты что!

— Я его вчера в городе с девчатами встретил. И Николай с ним был. Оба навеселе, а позавчера Жора у меня на папиросы занимал.

— И Николай, значит... Надо поговорить с ними. С каждым отдельно, — решил я.

С Жорой разговор не получился. Выслушав меня, он спокойно спросил:

— Так вы думаете, что этому пиджаку я ноги приделал?

— Да, мы так думаем,— тихо ответил я...

— А ты знаешь, что за такие оскорбления морду бьют?— раздувая ноздри, зловещим шепотом спросил Жора.— На меня налетай потише, обожжешься. Где у вас доказательства?

— Если бы у нас были доказательства, мы бы с тобой разговаривать не стали, — нахмурился Сашка.

— А если нет доказательств, так и катитесь к черту. Может, этот пиджак Рубаев украл, откуда я знаю.

— Кажется, дело ясное,— мрачно вздохнул я, когда Жора ушел.

— Поговорим еще с Николаем,— предложил Саша.

В подобных разговорах. Николай явно не имел Жориного опыта. Стараясь не смотреть на меня, он бормотал:

— Ну, что вы, ребята, никакого пиджака я не брал. Честное слово. Честное комсомольское.

Я вздрогнул, словно меня ударили по лицу. В следующее мгновение левой рукой я схватил Николая за ворот гимнастерки и рванул на себя.

— Честное комсомольское, говоришь? Куда пиджак дели, сволочи?

Николай понял, что сейчас я его ударю. А он видел, как я бью.

— Жора продал.

Я отпустил воротник его гимнастерки.

— Теперь рассказывай все по порядку. Бить тебя пока никто не будет.

НА комсомольское собрание пришли даже те, чье присутствие не было обязательным: техники, инструкторы, командиры звеньев, в большинстве члены' партии.

Первым выступил командир отряда: — Проще всего, товарищи, выгнать этих проходимцев из аэроклуба. Совершенный ими поступок несовместим со званием советского курсанта-летчика. После аэроклуба мы должны будем рекомендовать их командованию военного училища, а как мы можем рекомендовать воров? Но мы должны серьезно подойти к делу, учитывая, что сейчас решается их судьба. Поэтому я прошу комсомольцев со вниманием отнестись к персональным делам этих курсантов и решить, как поступить с ними дальше. Если собрание решит исключить их из комсомола, я подпишу приказ об отчислении из аэроклуба. Если нет — мы их хорошенько накажем, но дадим возможность закончить аэроклуб.

Жора говорил коротко. Всю вину брал на себя. Рассказав как было дело, он замолчал.

— Ну, и что дальше?— медленно спросил Валентин, глядя на него в упор.

Жора быстро взглянул на инструктора и опустил голову.

— Как вы все решите. Я понимаю...

— Что ты понимаешь?— резко перебил его Валентин.

— Нехорошо получилось, у своего украл.

Курсанты засмеялись, кто-то из инструкторов крикнул с места: «А у чужого можно?».

— Так что же дальше?!— оборвал смех Валентин.— Выгнать тебя из комсомола? Из аэроклуба выгнать?

Жора поднял голову. Губы у него дрожали.

— Валя... Товарищ инструктор... Делайте со мной, что хотите, но только не выгоняйте из аэроклуба. Я летать хочу. Я себе зарок дал. Я понимаю... ну выгоните меня из комсомола, только не выгоняйте из аэроклуба, я ведь...

Командир отряда раздраженно перебил его:

— Выгоните из комсомола! А ты думаешь, я тебя в аэроклубе оставлю, если тебя из комсомола выгонят? Ну, как тебе не стыдно? Что тебе, деньги нужны? Голодный ты тут сидишь? Или одеться не во, что? Живешь на всем готовом. Да в конце концов приди ко мне, объясни, что и как, я тебе из своей зарплаты дам. А ты — воровать!

Вид у командира отряда был не столько сердитый, сколько обиженный. Это особенно поразило Жору,

— Николай Иванович, товарищ командир, я вам лично обещаю: больше не повторится.

— А чего ты мне обещаешь, ты ребятам обещай, они все решают,— насупился Карпов, торопливо разминая пальцами сигарету.

Николай сразу начал оправдываться: он не воровал, он не продавал, он случайно встретил Жору в городе. Он не знал, чей это пиджак. Он только ходил с Жорой в ресторан и пил коньяк. Он боялся Жору, поэтому и не отказался пить с ним. Поэтому и молчал.

Жора соглашался с его словами, но я понял, что ребята будут бить не Жору, а Николая.

— Ну, хорошо, — досадливо поморщился Карпов,— Остапенко, а ты что, маленький? У тебя своей головы

на плечах нет?

Николай запнулся, несколько секунд молчал, затем снова заговорил:

— Я, конечно, тоже виноват, но я прошу учесть, что в этом деле не я главный и... я прошу не выгонять меня из комсомола, я не могу без комсомола. Лучше исключите из аэроклуба.

Курсанты затаили дыхание. Валентин побледнел и стиснул пальцами неструганный край скамейки.

Николай сообразил, что сказал что-то не то, что именно — не понял и замолчал окончательно.

Несколько секунд было, слышно, как потрескивает фитиль керосиновой лампы на столе президиума и как бьются о ламповое стекло мотыльки, налетевшие со всего аэродрома.

— Выгнать его к чертовой матери,— хрипло выдохнул Астахов, инструктор третьей летной группы,— и из комсомола выгнать.

— Правильно! — зашумели курсанты.

Валентин встал, поднял руку:

— Тише, товарищи! О своей шкуре беспокоись? — повернулся он к Николаю.— Биографию не хочешь портить? О том, что летную группу опозорил, не думаешь? Меня опозорил — не думаешь? Выходит, я зря полтора месяца с тобой возился? Ты думаешь, я ради зарплаты круглые, сутки на аэродроме торчу? Ради зарплаты нервы свои треплю? Машину тебе доверяю, жизнь свою доверяю, когда ты за штурвал берешься. Я к тебе всей душой, а ты... Да я Остапенко в пять раз больше уважаю, чем тебя. Он хоть признался честно, не юлил. И комсомол тебе нужен, как... Никогда ты настоящим комсомольцем не был и не будешь.

Валентин сел. Я встал и предложил исключить обоих из комсомола. Ребята требовали исключить Ковалева, а Остапенко вынести строгий выговор. Собрание продолжалось до полуночи. Наконец Сашка записал в протокол:

7. Обязать Остапенко и Ковалева уплатить стоимость пиджака Горяеву.

2. Вынести Остапенко строгий выговор. Ковалеву — строгий выговор с

последним предупреждением.

3. Просить командира отряда оставить в аэроклубе курсантов Остапенко и Ковалева,

Около палатки Жора спросил Николая:
— Чего ты за этот комсомол вцепился? Нужен он... Из аэроклуба выгонят — это да.

А комсомол — тьфу!

Я остановился:

— А ну повтори, что ты сказал!

Из темноты вывернулся Пашка Рубаев.

— Куда плюешь, гад?!

— Тихо, Паша, — Остапенко нагнул голову. — У меня настроение скверное, могу в зубы дать.

Пашка развернулся и резко ударил его по щеке. А в следующую секунду, отброшенный тяжелым ударом в лицо, отлетел в сторону и покатился по земле, чуть не сбив меня с ног.

К палатке бежали курсанты. Я шагнул к Жоре.

— Кого бьешь, мразь?!

— Не подходи! Убью! — Жора занес правый кулак.

Я медленно пошел на него, зная, что сейчас он не выдержит, и бросится на меня. Он бросился, пригнув голову к груди.

От удара я ушел нырком вправо и, разгибаясь всем корпусом, ударил левой рукой в солнечное сплетение, а когда Жора согнулся, глотая широко раскрытым ртом воздух, — врубил короткий режущий удар правой в челюсть.

Николай вскрикнул и помчался в сторону от палаток. За ним молча погналось несколько ребят. Через минуту затих топот сапог и где-то в центре аэродрома раздался отчаянный крик и глухие удары.

Из инструкторской палатки вышли Валентин и Астахов. Астахов пошел к центру аэродрома, а Валентин подошел к нам и нагнулся над Жорой.

— Долго били? — спросил он меня.

— Нет. Я один раз ударил.

Валентин присел на корточки и зажег спичку.

— Морда целая, а пульса нет. Куда же ты

его ударил?

— Под дых и в челюсть.

— Дело скверное. Иди разбуди врача. А тебя за что? — удивился он, заметив окровавленную Пашкину физиономию.

— Это Жора...

— Так. Тогда, все понятно. Зови врача.

Жора отделался легко. Зато у Николая физиономия напоминала пасхальное, яйцо, с переливами от красного до фиолетового.

Деньги, за пиджак собрали всей группой и отдали Женьке. Жору и Николая не замечали, словно их не было в летной группе. Жизнь продолжалась.

САШКА первый вылетел самостоятельно. С утра он был какой-то восторженно-ошалелый: шутил, смеялся и даже заставил меня минут пять побарахтаться на земле, прежде чем я положил его на лопатки.

Я радовался вместе с ним. Я сам подогнал лямки парашюта на Сашкину фигуру, отрегулировал высоту сиденья под его рост и сопровождал машину на рулении.

Сашка вырулил на старт и увеличил обороты мотора, запрашивая разрешение на взлет. Я не слышал, что ему ответили по радио, но по тому, как мгновенно напряглась Сашкина физиономия, понял, что взлет разрешен.

Повернув лицо в мою сторону, Сашка поднял правую руку. Сопровождающий должен следить, нет ли препятствий на взлетной полосе. Препятствий не было. Я вскинул ладонь к пилотке и щедрым жестом вытянул правую руку в сторону взлетной полосы.

Сашка быстро улыбнулся и дал газ. Самолет начал разбег.

Струя ветра из-под винта ударила в лицо, высекла слезы, шелковые концы подшлемника хлестали по щекам, но я не отворачивался и не сводил глаз с самолета. Ведь в кабине не было Валентина, он стоял рядом со мной и тоже смотрел на удаляющийся самолет.

Сашка плавно оторвал машину от взлетной полосы, выдержал над землей и

перевел в набор высоты. Просвет между самолетом и кромкой горизонта ширился, на секунду в солнечных лучах жарко вспыхнуло остекление кабины. Сашка выполнил первый разворот и продолжал набирать высоту.

— Вот так! — довольно сказал инструктор, не отрывая взгляда от летящего вдоль аэродрома самолета.

Я промолчал. Еще вчера я был уверен, что Валентин выпустит меня первым. Я лучше Сашки выполнял посадку. Ничего, я полечу вторым.

Сел Сашка превосходно: с маленьким перелетом, зато на все три точки. Когда он вылез из кабины, мы, не сговариваясь, схватили его на руки и несколько раз подкинули в воздух. А когда он вновь оказался на земле, в один голос спросили: — Ну, как?

Сашка блаженствовал:

— Здорово! Слово заново на свет народился!

На другой день самостоятельно вылетел Николай Ковалев. Я забеспокоился, я летал лучше. Вечером я пошел к инструктору в палатку.

— Товарищ инструктор, почему вы не выпускаете меня?

— Потому что не считаю нужным, — коротко ответил Валентин.

— А когда вы меня выпустите?

— Когда сочту нужным.

Чувствуя, как бледнеет мое лицо, я задал еще один вопрос:

— Я летаю лучше Ковалева, почему он вылетел раньше меня?

Валентин нахмурился.

— Потому что вопрос, кто и когда вылетит, решаю только я и никто другой. Ты вылетишь последним. Ясно?

— Нет неясно! — я сжал кулаки. — Это несправедливо!

— Неясно? — Валентин прищурился. — Любители «самоволок» у меня вылетают в последнюю очередь. Завтра летать вообще не будешь. Спорить не советую, наряд заработаешь. Иди!

Я повернулся и вышел из палатки. Я вылечу в последнюю очередь. За «самоволку». Но я отсидел за нее два воскресенья на аэродроме. Я уже был за

нее наказан.

Утром я, как обычно, построил группу и доложил инструктору о готовности к полетам.

Выслушав мой доклад, Валентин коротко приказал:

— Отлично. Иди отдыхай.

Я вздрогнул, но из строя не вышел.

— Товарищ инструктор...

— Вчерашний разговор помнишь? Иди! Обида перехватила мне горло. Я открыл рот и вдруг заметил злорадный взгляд Николая Ковалева. Он ждал, что сейчас я буду ругаться с инструктором. Черта с два! Я стиснул челюсти и молча пошел в палатку.

Я сел в кабину через два дня. Сзади сел Валентин.

— Выруливай!.. Взлетай!

Делаю круг над аэродромом.

Приземляюсь...

— Разрешите получить замечания?

— Нет замечаний. Взлет! Еще круг.

— Нет замечаний.

— Когда я вылечу сам?

— В последнюю очередь! Взлет!

Хватит!

Валентин дает полный газ. Я выключаю мотор. Самолет по инерции катится по взлетной полосе. Я нажимаю педаль и сруливаю в сторону. Самолет замирает.

В задней кабине тихо, непривычно тихо.

— Вон, из кабины, — сквозь зубы, почти шепотом.

Открываю фонарь и спрыгиваю на землю.

— Стой! Сопровождай!

Валентин запускает мотор, я кладу руку на конец крыла. Валентин дает газ, рулит к старту. Я иду. Быстро иду. Бегу. Парашют больно бьет под коленки. Валентин постепенно увеличивает обороты мотора! Я отпускаю крыло и останавливаюсь. Валентин резко тормозит.

— Сопровождай!

Снова бегу рядом с самолетом, снова парашют больно бьет по ногам, снова Валентин увеличивает обороты.

Наконец старт. Валентин выключает мотор, отстегивает привязные ремни,

вылезает из кабины.

— Ну что, псих, успокоился? После завтрака еще слетаем. Вдвоем.

Я киваю головой. Молчу. Слетаю. После завтрака. Один.

Время тянулось невыносимо медленно. Казалось, никогда не наступит это «после завтрака».

Наконец я снова в кабине. Жарко.

Побелевшее небо звенит сотнями жаворонков. В траве стрекочут кузнечики, словно кто-то быстро затачивает нож на мокром бруске. Ветра нет, и края аэродрома расплываются в дрожащем мареве.

Техник заправляет самолет бензином. Над горловиной бака зыбко струятся пары, бензина.

Валентин идет к самолету с папиросой в зубах. Техник машет ему рукой: «Не подходи с папиросой, бензобак открыт».

Валентин поворачивает на КП. До начала полетов еще двадцать минут. Можно спокойно покурить и поболтать с инструкторами.

Я сижу в кабине, откинув голову на спинку сиденья. Словно дремлю. Сейчас надо запустить мотор. Иначе не успеет прогреться и может, заглухнуть на взлете.

Сквозь, опущенные, ресницы вижу, как техник закрывает горловину бака и поворачивается ко мне.

— Ты чего, бедолага, в собственном соку варишься? Под крылом тень, а ты в кабину залез.

— Жарко и под крылом,— лениво отвечаю я, не открывая глаз. — Лучше поверни винт, я мотор запущу. В кабине прохладнее будет.

Техник поворачивает винт. Я запускаю мотор и принимаю прежнюю позу.

Валентин выскакивает из-за радиостанции и натывается на техника. Тот что-то говорит ему. Вероятно, объясняет, почему я запустил мотор.

Валентин поворачивается ко мне спиной. К столику руководителя полетов подходит Карпов, усаживается, продувает микрофон и кладет его на колени. Разворачивает газету. Пора!

Я высовываю голову из кабины. Сашка сидит в кружке курсантов. Подзываю его взмахом руки.

— Закрой заднюю кабину,— показываю я движением обеих рук.

Он сразу все понял, изумленно взметнул брови, кивнул на КП. Я махнул рукой — черт с ним!

Сашка оглянулся; На нас не смотрели. Быстрым движением он захлопнул скользящий фонарь задней кабины и отскочил в сторону.

Последний взгляд на КП. Все в порядке. Самолет стоит, под углом к взлетной полосе. Взлетать поперек аэродрома нельзя. Ничего, выправлю на разбеге. Дам газ и сразу развернусь влево. Поехали!

Не вырвав на взлетную полосу, я рванул на взлет.

Стрельнул, в сторону срубленный винтом флажок ограничителя стремительно полетела под крыльями земля.

- Прекратить взлет! Немедленно прекратить взлет! Мотоцикл на взлетной! — загремел в наушниках голос Карпова.

Но прекращать взлет было поздно. Я уже оторвался от земли.

И тут я увидел мотоцикл с коляской.

Не желая объезжать вокруг аэродрома, кто-то решил сократить расстояние и проехать в город через аэродром.

Водитель растерялся и вел машину прямо на блестящий диск пропеллера. Взмыть вверх и перескочить через мотоцикл нельзя — мала скорость.

Я убрал шасси на полуметровой высоте и накренил машину на левое крыло. Накренил чуть, заметно, опасаясь зацепиться консолью крыла за землю.

Этого оказалось достаточно. Мотоцикл проскочил в метре от конца крыла. На миг я увидел испуганное лицо женщины в коляске. Обошлось.

Перевожу самолет в набор высоты. С убранным шасси он быстро лезет вверх. Сто! Штурвал от себя, скорость сто шестьдесят, плавно разворот.

Самолет слушается рулей превосходно, мотор работает безукоризненно, а самое

главное — в задней кабине великолепная пустота. Ору во все горло:

Утомленно
солнце
Нежно с
морем прощалось...

И чуть не проглатываю язык. Кнопка передатчика на рычаге газа прижата большим пальцем. Значит, на земле все слышно.

Лечу вдоль аэродрома. Выпускаю шасси. Полный порядок! Ну, Димка, держись! Впереди самое страшное — посадка! Разве что дать еще круг и пройти на бреющем над КП? Вытурят. Как пить дать, вытурят. И за этот полет намылят шею по девятой усиленной норме. Надо быть пай-мальчиком и выполнять посадку на «пятерку». Иначе выгонят.

Третий разворот. Открываю фонарь, убираю газ, перехожу на планирование.

Осматриваюсь. В воздухе ни одной машины. Никого не выпустили. Ждут, чем закончится мой полет. Все ждут.

Валентин, конечно, уверен, что я сумею пощадить машину. А если нет? Если не уверен?

Впереди посадочные знаки. Выпустить тормозной щиток? Рановато.

— Щиток! Щиток выпускай! — торопливо начинает подсказывать с земли Карпов.

«Чего он нервничает?» — удивляюсь я, выпуская щиток. И вдруг догадываюсь. Да ведь он боится! Боится, что я сейчас угроблюсь.

И сразу же по спине побежали мурашки. Садиться все-таки, страшно.

Медленно тяну штурвал на себя, выравнивая самолет над землей.

— Спокойно, не нервничай. Добирай ручку, еще. Довольно. Сажай, сажай, не дергай ручку. Опа! Отличная, посадка, молодец! Тормози, — и вдруг словно спохватывается:

— Заруливай, сукин сын, отстраняю на неделю от полетов, объявляю выговор за хулиганство, пять нарядов вне очереди за самодеятельность!

Инструктор молча отвел меня за хвостовое оперение самолета. Глаза у него побелели от бешенства. «Сейчас ударит» — подумал я и вытянул руки по швам.

— Ты что же, подонок, делаешь?! Тебе что, жить надоело? А я при чем? Мне из-за тебя за что под суд идти? Ну, благодари бога, что машину не разбил... Шагом марш на финиш! Живо!

Стоя около посадочных знаков, поднимая белый флажок перед идущими на посадку самолетами, я оценил положение. Если бы решили выгнать — наказывать не стали бы. Все в порядке.

Три часа простоял я с флажками под палящими лучами солнца. Никто не сменял меня, хотя полагалось сменять финишера через каждый час.

Поднимать правую руку с белым флажком становилось все труднее. Затекли ноги. Хотелось швырнуть флажки на землю и растянуться на белом полотнище посадочного «Т».

Но я знал, что за мной наблюдают и упрямо стоял на месте, не позволяя себе даже прогуливаться около «Т».

Валентин поступил несправедливо, и я доказал ему, что могу летать самостоятельно. Я прав.

Карпов наказал меня за нарушение дисциплины. Какое ему дело — до того, что я не мог поступить иначе. Я провинился, и он наказал меня. Он поступил справедливо. Он тоже прав. Поэтому я буду стоять с флажками хоть двое суток, пока не упаду или пока меня не сменят.

Последний самолет зашел на посадку с убранными шасси. Я поднял красный флажок, запрещая ему садиться. Пилот продолжал планировать, он не видел моих сигналов. Я схватил край полотнища и потянул на себя, сворачивая «Т» и торопливо выкладывая знак, запрещающий посадку.

Самолет взмыл вверх и ушел на второй круг. На секунду я увидел в первой кабине голову командира отряда. Во второй — никого не было. «Проверял, не сплю ли», — догадался я, снова

выкладывая посадочное «Т».

Через несколько минут Карпов приземлился и сразу повернул на стоянку. Полеты были закончены.

Курсанты начали сворачивать старт. Я бросил флажки и с наслаждением растянулся на траве. Теперь можно и отдохнуть.

ХРОМОЙ комендант лагерного сбора слыл у курсантов за мужика вредного и привередливого. Каждую субботу он портил настроение всему отряду, устраивая проверку палаток, на чистоту и беспощадно наказывая курсантов за грязь лишением увольнения в город.

Прихватив с собой врача и кого-либо из командиров звеньев, он шагал из палатки в палатку, заставляя перестилать постели и выметать сор, доставая из-под матрацев сапожные щетки и банки с ваксой. Он лазил на четвереньках под нары и устраивал нагоняи за обнаруженные там окурки.

Одно его появление приводило курсантов в тихое бешенство. И больше всего их злило, что комендант всегда ходил в летной форме: носил кожаную куртку, галифе, хромовые сапоги и летную фуражку. Хотя к авиации не имел ни малейшего отношения.

Целыми днями он сидел в своей каптерке, заваленной грудями списанных гимнастеров, разбитых кирзовых сапог и грязного белья. Составлял накладные, заполнял толстенную книгу прихода и расхода, ругался с заведующим столовой и писал акты на списанное имущество.

Скуп он был невероятно. Чтобы обменять у него старые сапоги на новые, надо было обладать поистине незаурядными способностями, ибо комендант умел, не краснея, утверждать, что в сапоге с полу отвалившейся подметкой вполне можно проходить еще три дня, а огромную дыру в галифе — заштопать зелеными нитками.

Любое приказание летного начальства полагалось выполнять безоговорочно, с комендантом можно было спорить. Курсанты охотно пользовались этим

правом.

Самообладание у коменданта было превосходное. Если курсант разговаривал с ним, засунув руки в карманы и презрительно переминаясь с ноги на ногу, он не приказывал стоять смирно. Он молчал. Только краснело его неподвижно-напряженное лицо и опускались уголки плотно сжатого рта, придавая всему лицу беспомощное выражение.

В эти минуты его не спасала даже летная фуражка, надетая по всем правилам устава. Вид у него был совсем не военный. И только холодные желтые глаза смотрели по-прежнему властно и прямо, независимо от выражения лица.

Но командовать он умел не хуже командира отряда. Это хорошо знали все курсанты, попадавшие за разные провинности в полное распоряжение коменданта лагерного сбора. В таких случаях власть его становилась неограниченной. Я должен был подчиняться ему семь дней.

Называть его командиром я наотрез отказался.

— Хорошо, зовите меня товарищ Ярцев,— невозмутимо ответил комендант, вручая мне лопату.

За неделю я сделал уйму полезной работы: собрал окурки и бумажки со всего аэродрома, зарыл тридцатиметровую канаву, выкопанную седьмой летной группой в полном составе за самовольный уход в город, до зеркального блеска начистил двадцать пар списанных в утиль сапог и перетащил ровно на пять метров гору дюралюминиевого металлолома, выброшенного с аэродрома за ненужность.

Сильно прихрамывая на правую ногу, Ярцев по несколько раз на день приходил проверять, как идет у меня работа, и мучительно морщил лоб, размышляя, что бы еще придумать в наказание. Когда неделя подошла к концу, моя сдержанная неприязнь к Ярцеву перешла в затаенную ненависть.

Последний день наказания оказался удачным. У Ярцева разболелась нога, он

слег, и я был предоставлен самому себе.

С утра я взялся читать Лермонтова и... не мог оторваться до обеда.

Это был не тот Лермонтов, которого мы проходили в школе и который обязательно развенчивает своего героя, проводя красной нитью через галерею образов мысль о том, какой лишний человек был Печорин и в какое плохое время он жил.

На самом деле Печорин оказался совсем неплохим парнем. Он мог постоять за себя. Честно, лицом к лицу, без всяких... И голова у него работала здорово. Вот только дела себе по душе не нашел.

Прочитав последнюю страницу, я был в восторге. «...И как матрос, рожденный на палубе пиратского брига...» Эх, не было аэроклуба в его время! Он бы наверняка стал летчиком.

Через два дня я снова летал. Один. Без инструктора.

НА СТАРТЕ поставили фанерный щит. Масляными красками на нем нарисована карта района аэродрома: линия железной дороги, станции Золотушка и Белый Уголь, птицеферма, развилка дорог на станицы Суворовскую и Боргустан. Каждый из этих ориентиров обведен черным кружком с номером внутри. Это центры пилотажных зон.

Взлетать, делать круг над аэродромом и садиться мы научились. Начиналось самое интересное — фигурный пилотаж в зоне: петли, виражи, боевые развороты, иммельманы.

В понедельник командир отряда зачитал перед строем приказ:

— В связи с переходом к новому этапу обучения — к полетам на пилотаж — приказываю

летному составу повторить теорию и отработать наземные упражнения покидания самолета с парашютом из всех положений: с нормального штопора, с виража, с пикирования, с плоского и перевернутого штопоров. Обычным способом и способом срыва, при покидании машины на малых, высотах.

Проверять буду лично...

На другой день с утра курсанты под наблюдением инструкторов начали тренироваться в покидании самолета с парашютом. Николай стоял около кабины на страховке. Мы с Сашкой сидели на земле и хохотали, глядя, как ребята цепляются сапогами за сиденье, за штурвал, за борта кабины и неуклюже вываливаются на крыло. Мы-то умели покидать самолет с парашютом!

Последним надел парашют инструктор. Я знал, что он, как и большинство летчиков, терпеть не может парашютные прыжки, и толкнул Сашку:

— Смотри, сейчас потеха будет.

Вылезая из кабины, Валентин зацепился карманом комбинезона за стопор скользящего фонаря кабины и повис вниз головой.

Сашка схватился за живот и лег на спину, дрыгая ногами. Я вытирал слезы, захлебываясь от хохота.

— Чего ржете? Отцепите! — возмутился инструктор.

Николай тщетно пытался помочь ему. Мы хохотали. Валентин оборвал карман и плюхнулся на землю. Поднявшись на ноги, он приказал:

— А ну, марш отсюда! Нечего вам здесь делать, только другим мешаете тренироваться...

— Валя, отпусти в город, — попросил Сашка.

— Шагайте. К ужину быть на аэродроме.

Я предложил поехать в Пятигорск. Сашка согласился неохотно.

— Там ничего интересного нет.

— Как нет? — удивился, я. — А музей Лермонтова? А Провал?

— Ну разве что Провал. Ладно, поедем.

Через полчаса мы были в Пятигорске, но на дверях музея висела табличка: «Выходной».

Внимательно рассмотрев эту вывеску, я почесал переносицу.

Почему-то я был уверен, что в доме, где жил Лермонтов, на дверях не может висеть такое объявление.

Денег на проезд к Провалу не было, хватало только на обратную дорогу.

Мы вернулись в Ессентуки и

отправились в парк.

По аллеям бродили толпы курортников, но их вполне устраивала асфальтированная часть парка, и мы без труда отыскали безлюдное глухое местечко на склоне оврага.

Приятно лежать на спине и смотреть в небо, где медленно плывут круглые белые облака, похожие на клубы порохового дыма, вылетающие из пушек старинного брига. Как в кино «Адмирал Ушаков».

— Дима, а что ты будешь делать, если не поступишь в училище? — неожиданно спросил Сашка.

— Почему не поступлю? Здоровье у меня хорошее, летаю прилично, биография тоже подходящая.

— Ну, а вдруг не поступишь? — настаивал Сашка.

— Не знаю, только я обязательно поступлю.

Несколько минут мы лежали молча, затем я спросил:

— А если ты не поступишь? На врача пойдешь учиться?

— Зачем на врача, можно и другую специальность выбрать.

Я оторопел. Это было явное предательство.

— Ну, если ты так относишься к авиации — тебе в училище поступать незачем!

Сашка повернул голову и насмешливо посмотрел на меня.

— А как я отношусь?

— Ясное дело, как! Можно летать, а можно и не летать. Сегодня летаю, а завтра в бухгалтеры пойду, мягкую подушку под зад подкладывать буду. Надумал уходить, из аэроклуба - уходи, в институт еще успеешь. Нечего канитель разводиться.

Сашка задумчиво смотрел в небо.

— Все?

— Все!

— Ну и дурак. С чего ты решил, что я хочу уходить из аэроклуба?

— А если не хочешь, чего ради этот разговор затеял?

Сашка достал портсигар, закурил.

— Знаешь... парень ты смелый, настойчивый, крепкий, я иногда даже

завидую тебе. И в то же время ты какой-то...

Сашка замялся.

— Примитивный,— насмешливо подсказал я,

— Не то чтобы примитивный...

— Неинтеллигентный.

— Да при чем тут интеллигентность! Живешь ты как-то поверху. Ничем не интересуешься, читаешь мало, да и то все больше про авиацию, а ведь нельзя жить только авиацией. Надо большую цель в жизни иметь.

— У меня есть цель. Хочу стать летчиком--испытателем.

— Зачем?

— Как это зачем? Чтобы самолеты испытывать.

Сашка досадливо поморщился.

— Да не в этом дело. Не могут же все люди летчиками стать. Летчик ты или не летчик— важно не это. Важно, чтобы ты знал, зачем ты летчик, чтобы у тебя... крылья были. Ты хочешь стать военным летчиком, тебя научат убивать, в твоих руках будет оружие. Страшное оружие. И ты должен хорошо понимать, зачем тебе это оружие и почему ты хочешь хорошо владеть им: просто руки чешутся или...

— Ну, ты эти разговоры брось! — разозлился я.— И вообще, ты меня с толку не сбивай. Я хоть и не мастак рассуждать, а все эти шутки не хуже тебя понимаю. И в истребители иду не потому, что у меня руки чешутся убивать. Я убивать никого не хочу, я сам без отца вырос. Только тот гад, что отца убил, может быть, до сих пор по земле в военной форме ходит. Да еще недоволен, что автоматную очередь в зубы не получил. Хочет попробовать. Вот для него мне и надо научиться убивать. Умело, спокойно, без эмоций. Понял? Ладно, хватит болтать, на аэродром пора.

КОМАНДИР нашего звена Лебедев летал на «девятке». Серебристо-белая, с яркими звездами на крыльях и красным коньком на пропеллере, она казалась особенно изящной и стремительной рядом с буднично-зелеными «ЯКами», на которых летали курсанты.

Раз в неделю, после полетов, когда усталость одолевала даже ненасытных до пилотажа курсантов, Лебедев поднимал «девятку» в воздух.

Казалось, машина еще бежит по взлетной полосе, а он уже убирал шасси, и самолет повисал в воздухе. Это делалось так легко и просто, что даже инструкторы, десятки раз видевшие, как взлетает Лебедев, изумленно вздрагивали.

Сидя за штурвалом, Лебедев мог все. Он мог на стометровой высоте перевернуть машину

25

вверх колесами и вниз головой пройти над аэродромом. Выполняя пилотаж, он мог свечой взмыть в зенит и выполнить вертикальную «бочку», хотя в инструкции было написано, что на «ЯК-18» сделать ату фигуру невозможно.

В книге военных мемуаров я прочитал о подвиге Героя Советского Союза капитана Лебедева, атаковавшего звеном истребителей тридцать «фашистских бомбардировщиков, которые шли бомбить Москву. Трое против тридцати.

Из этого боя на аэродром в горящей машине вернулся один Лебедев.

Я испытывал восторженное уважение к своему командиру звена и мечтал хоть один-единственный раз слетать с ним на пилотаж в серебристо-белой «девятке». Об этом мечтали все курсанты, но Лебедев не любил летать с пассажирами.

И все-таки моя мечта сбылась. Однажды я набрался смелости и попросил:

— Товарищ командир, возьмите меня с собой на пилотаж.

Пристегиваясь ремнями, Лебедев привычно улыбнулся:

— Нельзя. Голова, закружится.

Он весело глянул на меня и прищурился.

— Погоди, это из-за твоей светлости я с командиром отряда ругался?

Я знал, что на совещании штаба, где обсуждался, мой самовольный вылет, Лебедев, выступил против моего

отчисления.

— Из-за моей, — хмуро ответил я.

— Садись, — командир звена кивнул на заднюю кабину.

Лебедев пилотировал вдохновенно, талантливо, виртуозно. Все убыстряя темп, он крутил фигуру за фигурой, стремительно падая к земле, взмывая в небо, переворачиваясь через крыло и снова устремляясь к земле.

Стрелка указателя скорости то и дело уходила за красную черту.

— Скорость превышаете! — восхищенно крикнул я.

— Мне можно. Тебе нельзя. Моторчик слабоват, не вытянет вертикальную «бочку», — ответил Лебедев, свечой взмывая в зенит и поворачивая самолет, словно ввинчиваясь в небо.

Наконец он выполнил какую-то немислимую фигуру, я окончательно перестал различать, где небо, а где земля, и — пилотаж был закончен.

— А меня так научите? Командир звена рассмеялся:

— Чему можно — научу. Завидуешь?

— Завидую.

— А я тебе завидую. На реактивных будешь летать, быстрее звука. Может быть, к звездам полетишь. А мне дай бог этот набор выпустить, и на пенсию. Врачи за горло берут. Отлетался.

Лебедев помолчал и вдруг спросил:

— На какой скорости я делал вертикальную «бочку»?

— Триста семьдесят, — быстро ответил я.

— Смотри, какой шустрый! — удивился Лебедев. — Следи внимательно. Все, что я сейчас покажу, тебе делать нельзя. Вот это ранверсман. Усвоил?

— Усвоил.

— Вот это восходящая «бочка».

— Усвоил.

Самолет свечой идет вверх, зависает и начинает падать на хвост.

— Усвоил.

Вертикальная «бочка», замедленный иммельман, двойная «бочка», косая петля, «бочка» на пикировании, «бочка» на вираже, переворот на пикировании.

— Усвоил... усвоил... усвоил... Товарищ командир, почему мне нельзя делать эти фигуры?

— Потому что половина из них — верный гроб с музыкой для такого «аса», как ты. Сорвешься в штопор — и все.

— Из штопора-то я выйду.

— Выйдешь? А ну, попробуем. Делай иммельман,

При выполнении иммельмана я почувствовал, как Лебедев взялся за штурвал и в верхней мертвой точке резко сунул его от себя. А я одновременно дал педаль, чтобы вывести машину из перевернутого положения.

И тут произошло непонятное. Машина затряслась, медленно накренилась на крыло и... взбесилась! Штурвал с остервенением рвался из рук. Земля завертелась и начала падать прямо на голову, почему-то сверху.

— Выводи!

«Раз земля крутится, значит штопор» — догадался я и начал лихорадочно соображать: «Какой штопор? Простой? Перевернутый? Крутой? Плоский? Кажется, перевернутый».

Я дал рули на вывод, но машина продолжала штопорить. Я еще раз попытался остановить бешеное вращение и понял, что не смогу вывести самолет из штопора. А земля приближалась с каждым витком.

— Выводи!

— Не могу! — крикнул я.

Стрелка высотомера быстро падала к нулю. Лебедев, потянул штурвал на себя и убрал газ. Еще виток, и... самолет вышел из штопора.

— Вот так! — жестко усмехнулся Лебедев. — Хвастуны гробятся в первую очередь. Понял?

— Понял.

— Теперь смотри, что тебе можно делать. Машина легла на правое крыло.

— Так это же обыкновенный вираж!

— Обыкновенный? Я на этих «обыкновенных» за войну пятнадцать машин сбил. И меня в первом бою на вираже чуть не угробили.

Я тоже думал — «обыкновенный»...

Немец за пять минут мне мозги

вправил.

— Товарищ командир, расскажите, как он вам... это...

— Мозги вправлял? Очень просто. Я к нему в облаках подкрался, зашел в хвост, прицелился. Ну, думаю, я тебе сейчас покажу, как воевать надо. Он закладывает вираж. Самый обыкновенный вираж. Я за ним. Ходим на виражах. И через пять минут уже не я у него, а он у меня в хвосте. Да как начал крестить из пулеметов — до сих пор не знаю, каким чудом ноги унес.

Прилетел домой весь дырявый, а меня встречает мой командир, капитан Борода. Не слышал про такого? Великий человек был. Росток с ноготок, а борода, как у Черномора, — до пояса. Из мужиков. И воевал по-мужицки, словно поле пахал: поплюет на ладони и в кабину лезет. Да так воевал, что о нем легенды сочиняли. Сам командующий ему бороду разрешил носить за боевые заслуги. По уставу-то не положена.

Так вот, встречает он меня, бородой трясет: «Сукин ты сын! Где у тебя, душа? До чего ты машину довел?!»

Я обиделся. «Спасибо, что сам живой остался, не на прогулку ж летал».

А он не понимает: «За что тебя благодарить? Немца не сбил? Нет! Машину на неделю из строя вывел? Вывел! А у меня этих машин раз-два и обчелся. Рассказывай, как воевал».

Рассказал я ему все по-порядку. «Садись, — говорит, — в мой самолет». А у него новенький «ЯК» был, редкая машина, мы тогда еще на «Иш» летали. Пришли в зону. Я на его «ЯКе», а он на «И-16». Начал он меня на виражах гонять. Я и так, я и этак, а он в хвосте висит и чуть не через каждую минуту орет по радио: «Сбит, опять сбит, куды ж ты, так и разэтак, сам под пулеметы лезешь!»

Семь потов с меня согнал, а виражи научил делать.

— Товарищ командир, а где он сейчас?

— Кто? Капитан Борода? Погиб над Кубанью. На моих глазах погиб. Нам запрещал тараны, называл их романтической чепухой, а сам таранил

«хейнкеля», когда патроны кончились.

Заходя на посадку, Лебедев спросил:

— Так мы договорились насчет запрещенных фигур?

— Договорились.

— Слово?

— Честное.

— Ну и добро!

Ярцеву я все-таки отомстил.

После полетов все курсанты мчались к рукомойнику обмыться до пояса. Стояли невыносимо знойные дни, и к обеду «роба» становилась мокрой от пота. Майку я не надевал, и без нее было жарко.

Моя гимнастерка, верой и правдой служившая не одному поколению курсантов, наконец порвалась. Она прилипла к спине, и, когда я торопливо дернул за воротник, стремясь поскорее залезть под струю холодной воды, воротник оторвался.

Я пошел к Ярцеву и потребовал заменить гимнастерку. Он молча достал из ящика моток зеленых ниток, иголку и протянул мне.

Швырнув ему на стол выгоревшую до белизны гимнастерку, я ушел в палатку, надел ковбойку и отправился к машине ехать на обед.

Я уже сидел в кузове, со всех сторон зажатый курсантами, когда подошел Ярцев.

— Курсант Шибает, я вам не разрешаю в таком виде выезжать с аэродрома.

Я злорадно улыбнулся:

— Не разрешаете? Тогда принесите мне новую гимнастерку.

Ярцев побагровел от такой наглости.

— И вы... вы смеете... называть себя летчиком! Да вы... вы...

И тут я нанес свой долгожданный удар.

— А вы, товарищ интендант, о летчиках как судите? Понаслышке или из личного опыта?

Курсанты дружно захохотали. Кто-то стукнул кулаком по кабине — «поехали!» Машина тронулась.

Сильно хромая, Ярцев пошел к себе в каптерку. Я торжествовал. Ненавистный всем комендант получил по заслугам.

НОЧЬЮ бушевала гроза. Утром Я вышел из палатки и замер. На юге ослепительно сверкала в лучах невидимого солнца бело-голубая гряда Кавказского хребта. В центре высилась двуглавая громада Эльбруса с еле заметным дымком снежной бури на левой вершине.

По бутыльно-зеленому небу быстро убегала на север, в сторону Бештау, лиловая туча, вытянутая и загнутая, как сапог.

В этот день я взлетел первым и первым попал в солнечные лучи. А на земле еще была тень.

Делая разворот, я видел, как оторвался от земли второй самолет и пошел на взлет третий. Начался обычный летный день.

Сделав несколько полетов по кругу, я ушел в зону и крутил виражи до тех пор, пока мне не приказали идти на посадку. После завтрака снова должен лететь я.

Дожди затаили выполнение программы. Был дорог каждый час, и командир отряда разрешил использовать время завтрака для полетов на пилотаж. Счастливчик целый час кувырчался в зоне, а завтракать ехал вместе с техниками, вторым рейсом.

Сегодня счастливым был Сашка. Он уже начал осваивать фигуры вертикального пилотажа и летал в зону с инструктором.

Когда мы выезжали с аэродрома на грейдер, мимо нас, покачиваясь с крыла на крыло, промчался взлетевший самолет. Я видел бортовой знак, разглядел Сашку в первой кабине. Во второй сидел Валентин.

Самолет ушел навстречу солнцу и растаял в слепящих солнечных лучах.

Через час я снова был на аэродроме, готовясь к полету. Ветер гонял по полю травяные волны.

Я тщательно затянул лямки парашюта,

проверил замок. Все в норме. Можно лететь.

Кто-то идет на посадку. Убрал шасси, уходит на второй круг. Садиться нельзя. Посадочная полоса занята. Курсант бежит к старту прямо через посадочную. Дневальный. Наверно, зовут к телефону командира отряда.

— Куда прешься под самолет! Ослеп?— рывкнул Карпов.

Дневальный бежит, размахивая руками. Кричит:

— Телефон... самолет... упал... Карпов побледнел.

— Упал или сел на вынужденную?

— Не знаю.

— Где упал?

— Не знаю.

— Пилот выбросился? — Не знаю.

— В какой зоне?

— Не знаю.

Командир отряда свирепо трясет дневального за плечи.

— Что же ты знаешь?

— Телефон... сказали, что упал... самолет... я побежал сюда.

Карпов бросил дневального и схватил микрофон.

— Внимание, внимание. Всем посадка, всем посадка. Доложить, как поняли. Прием.

— Первый понял.

— Второй понял.

— Третий понял.

— Шестой понял.

— Восьмой понял.

Пятый и седьмой стоят на заправочной линии с выключенными моторами. Нет четвертого. Нет нашей машины!

— Четвертый, четвертый, отвечай! Почему молчишь? Прием. Третий, третий, я земля, прием.

— Третий слушает.

Это Астахов. Я знаю его голос.

— Третий, в пятой зоне упал Васильев. Посмотри, что у него случилось.

— Третий понял!

Машины по очереди заходят на посадку. Одна из них отваливает и уходит на восток.

Пальцы командира отряда побелели, сжи-

мая рукоять микрофона.

— Земля, я третий, вижу четвертого. Полтора километра, северо-восточнее станции

Золотушка. Торчит вверх хвостом, людей не видно. Посмотрю с бредущего. Громко, слишком громко потрескивает динамик радиостанции. Тянутся секунды.

— Земля, земля, в задней кабине Васильев. Первая кабина пустая.

Рукавом гимнастерки я вытер холодную испарину с лица. Первая кабина пустая. Сашка выбросился с парашютом. Валентин погиб.

В машину скорой помощи прыгали инструкторы и техники. В общей, суматохе прыгнул и я.

Шофер включил сирену. Воющим, вихрем, проскочили улицы Ессентуков, вырвались на автостраду.

Проскочили станцию Золотушка. Шофер затормозил. Я выскочил из машины.

Метрах в трехстах от дороги наискось торчал в небо исковерканный фюзеляж самолета.

Впереди меня, задыхаясь, бежит командир отряда. Я обогнал его. Под ногами что-то захлюпало. Так вот почему самолет не взорвался при ударе о землю. Упал в болото. Земля мягкая.

Еще издали я заметил на борту первой кабины пряжку привязного ремня. Сашка успел отстегнуться и выпрыгнул с парашютом.

Я бросился к задней кабине. Пластмассовый фонарь сорван. На земле блестят осколки. Валентин пристегнут ремнями к сиденью. Голова опущена. От виска по щеке застыла тонкая струйка крови. Правая рука на штурвале. Сектор газа до отказа впереди. На нем стиснутая ладонь левой руки. Врезался в землю на полной скорости, пикируя с газом.

Я медленно стащил с головы шлемофон. Подбежал Карпов.

— Чего панихиду справляешь? Может, жив еще. Вытаскивай!

Подбежали остальные. Раскачав самолет, положили его на брюхо. Помогли вытащить Валентина из кабины. Врач прикинул ухом к его груди. Затем

поднялась с колен, тяжело и безнадежно.

Руки потянулись к пилоткам, шлемофонам, фуражкам с крылышками на голубом поле.

Самолетные часы в задней кабине показывали семь часов двадцать минут девять секунд. Они остановились в миг удара самолета о землю.

Мотор разбит, капоты разворочены, пропеллера нет. Масляный бак лопнул, и все залито маслом. На верхнем цилиндре мотора что-то блестит. Я подошел ближе. Сашкин портсигар. Я заглянул под капоты и отшатнулся, зажмурив глаза. Сашка не выпрыгнул.

Стиснув зубы, я пошел прочь от самолета.

В бездонном небе звенели жаворонки. Солнце поднялось высоко и сушило росу на траве и острых листьях осоки. Трещали прозрачными крылышками стрекозы. Начинаясь чудесный августовский день.

Почему Сашка не выпрыгнул? Испугался? Это исключено. И почему Валентин даже не отстегнулся, не пытался покинуть машину? Что это, гудит? Астахов крутит «бочки» на стометровой высоте. Так летчики оплакивают погибших товарищей.

Около разбитого самолета остались дежурить техники. Трогать его нельзя до прибытия экспертной комиссии.

Остальные машины зачехлили и опечатали. Летать нельзя до тех пор, пока эксперты не выяснят причину катастрофы.

ВЕЧЕРОМ я лежал в траве за палаткой. Никто меня не трогал. На западе багровела заря, словно ее облили кровью.

САШКУ похоронили на старом военном кладбище в Кисловодске, с воинскими почестями.

Сухо рванул тишину троекратный залп, спугнув стайку воробьев с кустов сирени. Солдаты опустили карабины к ноге.

В стороне от всех, стараясь никому не мешать и торопливо извиняясь, если его нечаянно толкали, совсем маленький,

стоял Аркадий Иванович. По его беспомощно застывшему лицу часто-часто катились крупные слезы. Их было так много, что даже рубашка на его груди намочила и потемнела. Сашкина мать не смогла прийти на кладбище. Узнав о гибели сына, она не поверила и хотела сама взглянуть на погибшего. Но командир отряда знал, что смотреть не на что, и не разрешил.

Разрешил начальник аэроклуба. Мать узнала Сашку по уцелевшим пальцам левой руки.

Вторые сутки ее не могли привести в сознание.

Тело Валентина отправили в Нальчик. Там жила его сестра.

Через два дня мы узнали результаты следствия экспертно-технической и медицинских комиссий.

Валентин выполнял двойную «бочку» — это помогли выяснить колхозники, видевшие катастрофу. Лонжерон лопнул, не выдержав сумасшедшей перегрузки. Крыло обломилось и ударило по кабине, убив инструктора и оглушив Сашку. Поэтому он и не успел выпрыгнуть.

Карпов попросил курсантов собраться за палатками. Старшина отряда хотел построить отряд.

— Не надо, — отмахнулся Карпов, — это неофициальное собрание.

— Товарищ командир отряда. Отряд...

— Сегодня меня зовут просто Николай Иванович, — перебил его Карпов и обратился к курсантам:

— Садитесь, ребята. Можно курить. Я хочу поговорить с вами. У нас большое горе, погибли наши товарищи. Летчики иногда гибнут. Каждый из вас знал, что выбирает опасную профессию. Иногда вы даже бравировали этим — вот, дескать, какой я смелый. Теперь вы своими глазами видели смерть и каждый из вас думает: «А вдруг я?» Большинство из вас хочет быть военными летчиками, летать на реактивных машинах. Там риск еще больше. Реактивные гробятся чаще, и не только потому, что делают ошибки и

нарушают правила. Каждая новая машина берет свое, пока ее освоят. Авиационный устав написан кровью летчиков. На ошибках погибших учатся живые, те, кто продолжает летать. Поэтому я прошу вас хорошенько подумать: не ошиблись ли вы, избрав профессию летчика. Сможете ли вы быть летчиком? Если вы не уверены— уходите из авиации. Этим вы только покажете свое честное и серьезное отношение к делу.

— Когда можно забрать документы?

Я оглянулся. Николай Ковалев?

— Спокойно! — это говорил не Николай Иванович. Такой властный был голос у командира отряда.

Я промолчал, хотя многое хотел сказать Ковалеву. Ребята поняли, что я хотел сказать.

Когда мы вернулись в палатку, мои слова решил высказать Пашка Рубаев. Теперь я приказал: «Спокойно, Паша!» — и он ничего не сказал.

Собрав чемодан, Николай заговорил, обращаясь ко мне:

— Понимаешь, не могу я летать после этого, не могу. Родители против того, чтобы я был летчиком. Я не виноват... но после этой катастрофы я не могу больше сесть в кабину.

— А чего ты оправдываешься? Уезжай, ты прав, — спокойно ответил я, зная, что прав все-таки не он, а те, кто останется.

Вечером Ковалев ушел. Я видел, как он пересекал аэродром, направляясь в город. Он шел быстро и ни разу не оглянулся.

Совсем стемнело, когда в палатку заглянул Жора Остапенко.

— Митя, давай побродим по аэродрому, поговорить надо.

Как только мы отошли подальше от палаток, Жора остановился.

— Давай сядем. Понимаешь, первое время после того, как ты меня уделал таким зверским способом, я на тебя, честно говорю, большой зуб имел. Думал при случае припомнить тебе эту плюху. Ты не вставай, я еще говорить буду.

В воскресенье был я у Вальки дома, поставил он пол-литра, мы с ним всю

ночь говорили. По душам. Он мне всю свою биографию рассказал: и про детдом, и про шрам, и про свою работу — все рассказал. А через день... Стоит он у меня перед глазами, и я третью ночь спать не могу. Лежу и все думаю, думаю. Ах, голова болит. В общем, завязал я. Навсегда. А тебе хочу одну вещь подарить. На память. Сам я в ремесленном сделал. Держи.

В широкой Жориной ладони рыбьим блеском сверкнуло узкое лезвие финского ножа.

— Работа качественная, не сомневайся.

Я взял нож, попробовал ногтем лезвие.

— Спасибо, Жора, а перед Пашкой, ты все-таки извинись. В морду ты ему ни за что заехал.

— Я понимаю.

— Ну и все. Пошли, сейчас проверка будет.

НАШУ летную группу расформировывали... Меня и Пашку взял к себе Астахов. Из его группы ушли двое.

Командование не торопилось начинать полеты, давая курсантам время успокоиться после пережитого потрясения.

Впереди был еще один свободный день. После обеда я уехал в Пятигорск, в дом-музей Лермонтова, куда нам так и не удалось сходить вдвоем с Сашкой. Мне хотелось молча посидеть в отстоявшейся музейной тишине комнат, где когда-то звучал голос Лермонтова, подумать о жизни, о смерти и о поэзии, которая делает жизнь поэтичнее любых стихов. Сашкин томик Лермонтова остался у меня. Навсегда.

В комнатах дома-музея Верзилиных экскурсоводы водили экскурсии. Каждый объяснял свое, комнаты были небольшие, и голоса экскурсоводов сливались в однообразное, монотонное жужжание. Я подошел к одной группе, затем удрал в другую комнату. Там тоже была экскурсия. Я заметался по дому, но от экскурсоводов нигде не было спасения.

Они настигали меня везде и равнодушными голосами жужжали на уши раз и навсегда заученные истины.

— В силу слабости его мировоззрения, — говорил один.

— За счет внесения реалистических черт, — добавлял другой.

— Учитывая вышеизложенное, — несло из гостиной.

Голоса у них были один к другому — бархатные баритоны. Почему-то я решил, что ни один из них не прочитал полного собрания сочинений Лермонтова.

«Учитывая вышеизложенное!» — только за эту фразу поручик Лермонтов дал бы пощечину любому из этих баритонов, схватил дуэльный пистолет и крикнул: «К барьеру!»

Около флигеля, где когда-то жил поэт, то же толпились «организованные» посетители.

Я круто повернул к выходу.

Автобусом я доехал к подножию Машука, надеясь, что там нет экскурсий.

Около Провала расторопный фотограф гипнотизировал дам, делая это с темпераментом истого южанина.

— Дэвушка, дэвушка! — обращался он к сорокалетней тучной даме. — Паслушай, дэвушка! Быть на Провале и не сфотографироваться — все равно, что не быть на Провале! Отличная фотография на фоне Провала, описанного вэликим поэтом в вэликом романе «Герой нашего времени». Фотографии высылаю на дом через два дня. Ваш адрес, дэвушка?

Дама открывала сумочку, фотограф звивался:

— Продаю виды Кавказа, совсем дешево!

— Я уже купила виды Кавказа, — пыталась защищаться дама.

— Виды? Тьфу! Тьфу! — плевался фотограф, — фабричная работа. Вот виды! — и он с ловкостью картежного шулера разворачивал перед ее носом колоду фотографий. Дама покупала виды, только бы поскорее оставить позади проклятый Провал, и устремлялась вперед по дороге. Бедняга не знала, что за поворотом дороги ее ждут знатоки

Лермонтова, продающие модели гор из цветных камешков, оклеенные мхом бутылки с видами Пятигорска, чайные блюдечки с надписями «Привет с Кавказа» и целую уйму вещей, имеющих самое непосредственное отношение к «вэликому» поэту.

В скалах, расселины, именуемой Провалом, гнездились дикие голуби. Но они уже не были дикими. Это были голуби-попрошайки. Они садились на перила ограды и, заглядывая в мои ладони, бормотали:

«Гур-р-р, гур-р-р. Мы все знаем, мы все помним. Мы можем рассказать, как над этим Провалом стоял поручик и его звали мсье Лермонтов. И даму звали... гур-р-р».

Я удрал из Провала. «Выхожу один я на дорогу»... А за тобой через столетие бежит, спотыкаясь и отталкивая друг друга, орава дармоедов. Всяких.

В Эссентуки я отправился пешком через поля, прямо в сторону аэродрома. По-вечернему звонко кричали перепела в траве. Солнце село. От земли поднимался прозрачный синеватый, туман, стекая и отстаиваясь в лощинах. Он стлался над землей, не поднимаясь вверх. Такой туман бывает в горах прохладными летними вечерами.

Я шел на юго-запад по пояс в тумане. Под сапогами хрустела трава, головки, каких-то цветов хлестали по голенищам. В воздухе пахло остывающей пылью и полынью. Вокруг усыпляюще тюрлюкали сверчки. Впереди, справа, чернел громадный Бештау. Он казался совсем рядом, хотя я знал, что до него три часа ходьбы. Под луной блестели скалы на его боках.

Спотыкаясь о камни, я выбрался на дорогу и пошел по ней. Дорога была старая, булыжная. Когда-то она соединяла Пятигорск с Эссентуками и Кисловодском. Построив автостраду, ее забросили, кое-где разобрали и запахали.

Вдруг я услышал музыку. Прислушался. Сверчки и перепела, больше ничего. Но музыка была. Она звучала во мне. Романс на слова

Лермонтова. Нет, это был не романс.
Это был гимн.

Выхожу один я
на дорогу;

Сквозь туман
кремнистый путь блестит...

Я начал понимать, что на большую,
настоящую дорогу каждый выходит
один, и перед каждым блестит
кремнистый путь. Такие дороги не
асфальтируются.

После гибели друга я как-то оцепенел,
сжался внутри и не мог выдавить из себя
ни слезинки. Теперь я был один и плакал.

В небесах
торжественно и чудно!

Спит земля в сиянье
голубом...

Четыре часа шагал по степи, пока
впереди смутно не забелели палатки
аэродрома. Под стоящими в стороне
самолетами чернели косые тени.

За палатками на траве кружком сидели
курсанты. Подойдя ближе, я услышал
звон гитары. Я подошел и сел рядом.
Среди курсантов разглядел троих
инструкторов и обоих командиров
звеньев. Все они пели вполголоса, старую
военную песню.

Знать не можешь
Доли своей.
Может, крылья

сложишь .

Посреди степей...

Я начал подпевать. ..

Выстрел грянет.
Ворон кружит.
Твой дружок в

бурьяне

Неживой лежит.
А дорога дальше

мчится...

Дорога ведет дальше, и нам, живым,
идти по ней до конца.

Я ПРОСНУЛСЯ за полчаса до подъема,
отстегнул полог палатки и высунул
голову наружу, не вставая с постели.
Ребята еще спали, я слышал ровное
посапывание.

Земля просыпалась. Чуть заметно
порозовели легкие перистые облака,

поголубели промоины между ними. В
траве кричали жаворонки. Я никогда не
слышал, чтобы жаворонки пели на
земле.

Вдруг один из них осмелел, вспорхнул
в нескольких метрах от палатки и, часто-
часто махая крылышками, повис над
землей, не прекращая пения. Несколько
секунд он висел на месте, затем начал
вертикально подниматься в небо. Его
примеру последовали остальные, один за
другим покидая надежную безопасную
землю, где не страшны когти ястреба, и
поднимаясь в небо навстречу опасностям
нового дня. Взлетая, они тоже рисковали
жизнью, но солнце всегда встречали в
воздухе.

До горла натягивая одеяло, я смотрел в
небо: такое голубое и такое опасное. С
восторгом и страхом я думал о том, что
через час буду высоко над землей и, рано
или поздно, сделаю двойную «бочку»,
которая была последней пилотажной
фигурой для Валентина и Сашки.

Если бы не честное слово, данное
Лебедеву, Я бы уже сделал ее и, может
быть, сумел выпрыгнуть с парашютом,
когда крыло ударило по кабине. А если
бы и не выпрыгнул, эту фигуру сделал бы
Сашка или кто-нибудь из курсантов,
потому что небо не может победить
человека, потому что оно одно, а людей,
у которых есть крылья, — много.

ЧЕРЕЗ час я сидел в кабине
самолета, пристегиваясь ремнями к
сиденью. Теперь на борту моей
машины белела цифра «3». В задней
кабине пристегивался ремнями мой
новый инструктор.

Среди инструкторов он был самым
незаметным, и, если бы не потеряя
кожаная куртка да не рассказы ребят, я
бы ни за что не поверил, что за моей
спиной сидит опытнейший ас, начавший
воевать с фашизмом в Испании и
закончивший в Китае, одним из первых
севший в кабину реактивного истреби-
теля и списанный из испытательной
авиации по состоянию здоровья.

С врачами ему пришлось провести свой
последний, самый трудный бой, бой за

право летать. И он победил. Ему разрешили работать летчиком-инструктором в аэроклубе. Круг замкнулся через тридцать лет, и Астахов снова вернулся в аэроклуб, чтобы дать крылья семнадцатилетним раньше, чем наступит его последний полет.

Астахова звали Александром Степановичем. В отличие от Валентина, он никогда не повышал голоса в разговоре с курсантами и совершенно не грешил красным словом.

— Готов?

Это Астахов.

— Готов, товарищ инструктор! — ответил я с преувеличенной бодростью.

— Как самочувствие? Не страшно?

Когда к самолету подходил — боялся?

— Нет!

— Ну вот и врешь! Ты мне честно говори.

— Когда подходил — боялся.

Немножко.

— Где уж там немножко,— рассмеялся Астахов.— Если боялся, тогда все в порядке. Выруливай.

Взлетел я напряженно. Новая машина была какая-то вертлявая и неустойчивая. Все время приходилось удерживать ее штурвалом и педалями. Я еще не знал, что у каждой машины есть свой характер и даже свои капризы.

Покойная «четверка» была характера покладистого и флегматичного. Она прощала небольшие ошибки в пилотировании и даже грубую работу рулями переносила спокойно.

«Тройка» чутко реагировала на малейшее отклонение рулей и совершенно не терпела грубых движений.

Я взмок от напряжения, пока сделал круг над аэродромом и приземлился.

— Грубо работаешь рулями,— заметил Астахов, когда я начал тормозить.— С машиной

надо на «вы» обращаться, а ты ее сразу за горло берешь. Насиловать машину нельзя — отомстит. Сейчас слетаем в зону, посмотрю, что ты умеешь.

Я старался пилотировать как можно

аккуратнее, и машина сразу стала послушнее. Пришли в зону.

Выполняя фигуры пилотажа, я понял преимущества «строгой» машины. То, что казалось мне утомляющей вертлявостью, было превосходной маневренностью.

— Делай правую «бочку».

Я делал.

— Какая же это «бочка»? Это настоящая кадушка. Смотри.

Инструктор плавно ввинтил машину в воздух.

— Сделай комплекс: переворот, петля, иммельман.

Я сделал.

— Плохо. На перевороте провернулся больше чем на 180 градусов, получился косой переворот. На петле поздно убрал газ, превысил скорость. На иммельмане завалился на крыло. Смотри, как надо делать.

Инструктор по несколько раз показывал каждую фигуру и заставлял повторять. Я повторял.

Быть смелым в воздухе не так уж трудно. Достаточно на несколько секунд подавить страх, сделать какой-нибудь головокружительный трюк, и все начинают говорить о твоей смелости.

Быть терпеливым оказалось труднее. Астахов учил меня терпеливой смелости.

Старательно и настойчиво отрабатывал я фигурный пилотаж. Сразу не получалось. Но у инструктора было неистощимое терпение, и он десятки раз показывал одни и те же фигуры.

Целую неделю он не выпускал меня одного в зону. Наконец я отлично выполнил контрольный пилотаж, и он сказал:

—Завтра полетишь сам.

Я поправил на горле ларингофон.

— Слушаюсь.

—Лазоркин тебе дружок был?— неожиданно спросил инструктор.

— Да.

— Двойную «бочку» не вздумаешь делать? Только честно.

— Вздумаю.

Несколько секунд Астахов молчал.

— Ладно. Тогда смотри, как она делается.
Самолет плавно и медленно перевернулся два раза через крыло.
— Вот и вся хитрость.
— Товарищ инструктор, позвольте мне.
— Давай.
Я сделал двойную «бочку».
— Плавнее работай рулями. Заметил, как машина вибрирует?
— Заметил.
— Вот она два раза три повибрирует, а потом тебя по башке крылом хлопнет, чтобы в другой раз аккуратнее пилотировал. Понял?
— Понял.
— Делай еще раз. Давай вместе делать.
Над головой земля, небо, снова земля и снова небо.
— Теперь сам делай.

КАЖДЫЙ день я поднимался в небо, выполняя все более сложные фигуры. Я научился набирать высоту в минимальное время, пилотировать, не глядя на приборы, садиться с боковым ветром и прятаться от строгого командирского глаза в редких облаках.

Однажды я улетел в Кисловодск и выполнил над кладбищем, где был похоронен Сашка, комплекс каскадного пилотажа, делая фигуру за фигурой.

Десять минут ревел мотор на перегрузках, десять минут крутились вокруг самолета земля и солнце.

Я ликовал от ощущения своей силы, ловкости, счастья полета.

Я отдавал последний долг погибшему другу-летчику.

КОМАНДИР звена Лебедев приказал мне явиться к нему в палатку после отбоя. Всю неделю я был образцово-показательным курсантом, получать нагоняй было не за что.

На всякий случай я пришел свежий подворотничок, начистил асидолом пуговицы и до блеска надраил сапоги.

Лебедев оформлял летные книжки. Мельком взглянув на меня, он кивнул на табурет:

— Садись.
Я облегченно вздохнул. Нагоняя не будет. Не переставая писать, командир звена приказал:
— Рассказывай.
— Что рассказывать?
— Рассказывай, что у тебя с Ярцевым произошло.
«Донес-таки, барахольная душа», — подумал я, молча глядя на Лебедева.
— Разрешите, я лучше стану смиренно, — попросил я.
— Сиди! — резко приказал Лебедев.— Мы с тобой долго разговаривать не будем.

...АД НАЧАЛСЯ НА РАССВЕТЕ. Море выбросило на каменистый берег Крыма первую волну десантников. На них обрушилась лавина огня и металла.

Тела убитых товарищей — это уже прикрытие. Вторая волна черных бушлатов сумела зацепиться за узкую полосу берега и открыть огонь. А с моря шла третья волна.

Мир сузился до размеров черного кольца прицела, пляшущего над бьющимся лоскутом пламени, до разрыва гранаты, до осколка, летящего только в твое сердце, до единственной мысли: «удержаться!»

Битва разворачивалась не только на земле. Она уходила в небо. Над полуостровом дрались сотни самолетов. На всех высотах. И даже на той высоте, куда не доставал взгляд.

Время от времени там появлялась черная точка и, разматывая за собой хвост дыма, чертила гигантскую дугу до самой воды.

Шла битва за Крым.

Над головами десантников пронеслись «девятки» ревущих штурмовиков. Бронированные машины растягивались по вертикальной петле и, не давая поднять голову, молотили железобетонные укрепления, закопанные в землю танки, пулеметные гнезда и окопы врага.

В это время моряки делали очередной рывок вперед.

Ведущий «девятки» открыл огонь,

когда до расплывающейся в прицеле стальной коробки танка осталась сотня метров. Выводя машину из пикирования, он видел внизу дымящуюся грудку стали. А сзади пикировал очередной штурмовик, и снова залп, и так без конца. Один за другим, заставляя вжиматься в землю все живое и ждать, когда кончится этот непрерывный падающий рев, этот хлещущий свинцом и сталью грохот пулеметов и пушек.

На четвертом заходе ведущий расстрелял пулеметное гнездо и увидел, как поднялись в атаку моряки. Он потянул на себя штурвал, выходя из пикирования.

В этот миг в моторе разорвался зенитный снаряд. Пилот оглох от внезапной тишины. Штурмовик падал. Пламя клочкотало под капотами, стремясь вырваться наружу.

Прыгать, немедленно прыгать! Выбросить парашют из кабины и рвануть кольцо!

Ведущий оглянулся. В задней кабине повис на ремнях стрелок. Ранен. Прыгать нельзя. Надо садиться. На узкую песчаную полосу вдоль берега. Как раз туда, где бегут десантники. Или правее, на камни.

Штурмовик сел правее и со скрежетом пополз по камням, ломая крылья. Затем врезался в огромный валун и перевернулся.

Десантники с трудом вытащили истекающего кровью летчика из кабины. При ударе о валун мотор сорвался с креплений и залез в кабину, намертво прижав правую ногу пилота.

И только через неделю, в тыловом госпитале, капитан Ярцев пришел в сознание.

ВСЕ ЭТО МНЕ РАССКАЗАЛ КОМАНДИР ЗВЕНА.

МОТОР гудит ровно и однообразно. Впереди медленно покачивается коричневая линия горизонта. Я впервые лечу по маршруту.

Давно остался позади аэродром, скрылись из глаз вершины Пятигорья. На коленях у меня лежит планшет с

маршрутной картой. Красная, линия уходит от аэродрома на восток, затем резко сворачивает к югу и вдоль Главного Кавказского хребта возвращается на запад, на аэродром. Вдоль нее синим карандашом записаны курс, время и высота полета.

Под крыльями плывет горящая степь, низко над землей стелется белый дым. Колхозники жгут стерню. Кончается август.

В задней кабине, откинув голову на спинку сиденья, дремлет Астахов.

Я включил радиополукомпас, пошарил в эфире. Кто-то передавал метеосводку, кто-то кричал, что у него нет запчастей к тракторам; кто-то, именуя себя «Шторм-2», сообщал, что высота у него пятнадцать тысяч метров, и настойчиво просил дать пеленг.

Явно заблудился, если открытым текстом просит дать пеленг. На такой высоте немудрено заблудиться. Летит в пятнадцать раз выше, чем я.

В наушники с лязгом ворвалась джазовая музыка. Грохочущий каскад ударника почти заглушил, мелодию и захлебнулся истерически-звонким воплем трубы. И снова мерное погромыхивание барабана. «Турция, — догадался я. — Маяк работает».

— Нравится? — неожиданно спрашивает Астахов.

— Да как вам сказать, — неуверенно начал я.

— А мне нравится. Где мы сейчас находимся?

— Подходим ко второму поворотному пункту маршрута.

— Как время?

— Идем точно по расписанию.

Несколько минут летим молча, затем Астахов спрашивает:

— Ну как, задал тебе Лебедев перцу?

— Задал, — улыбнулся я. — Кто же знал, что Ярцев окажется летчиком. Да еще таким...

— Да, это был летчик! Останься он командиром в армии — цены б ему не было. Человека насквозь видит. Он у нас пятый год работает. У нас ведь все больше фронтовики, герои да

орденоносцы, чуть что не так — на дикой козе не подъедешь. А он с первого захода умеет спесь сбить. Парторгом его выбрали.

Астахов немного помолчал, вздохнул. — Страшное это дело, когда летчик инвалидом становится. Небо человека целиком берет. Затянуло — и все. Хоть интендантом, да в авиации.

Ты думаешь легко ему, боевому летчику, с тряпьем возиться? И зарплата... У него пенсия в пять раз больше зарплаты. Человек авиации служит. На самолет спокойно смотреть не может. А летать не разрешают.

Когда мы на «ПО-2» летали, Карпов иногда пускал его в кабину, давал отвести душу, а на «ЯКе» нельзя. Инвалид, ничего не поделаешь. Вот так и живет.

Под крылом желтой змеей извивается горная речка, впереди видна плотина гидростанции.

Я разворачиваюсь и беру курс на аэродром.

Совсем рядом, слева, плывут лесистые склоны гор, синеют глубокие ущелья. Горы до самого горизонта. А там сверкают ледники и отливают холодной белизной покрытые снегом вершины. Небо густое, синее. Вот он, Кавказ!

Ровно гудит мотор. Медленно покачивается бело-голубая линия горизонта.

Через полчаса по курсу начинают попадаться облака. Я проскакиваю сквозь них, не меняя ни высоты, ни курса. Чем ближе к аэродрому, тем чаще и плотнее облака. Скоро они совсем закроют землю. Астахов слегка толкает штурвал вправо. Я оглядываюсь.

— Отойди от гор, а то еще воткнемся. Не выпускай землю из виду. Где мы сейчас?

Я разглядываю карту. Впереди по курсу вздрагивает зарница. Это хуже.

— Через полчаса будем дома. Если не попадем в грозу.

— Через полчаса облачность опустится до земли, — спокойно говорит Астахов.

Я невольно увеличиваю обороты мотора до максимальных, отворачиваю

вправо и даю штурвал от себя. Снова показалась земля.

Внизу плывет серая, мрачная степь, над головой летят сплошные, как потолок, тучи. Почему-то очень хочется поскорее очутиться на земле.

Вижу, как постепенно темнеют крылья. Дождь. Через десять минут должен показаться аэродром. Включаю рацию. В наушниках оглушительный треск, свист, зловещее завывание.

— Земля, земля, я третий, прием!

— Третьего слышу хорошо, — шепчет руководитель полетов.

— Земля, я третий, подхожу с юго-востока. Разрешите стать в круг ко второму развороту.

— Давай, давай, все уже на земле сидят. Одного тебя ждем, — чуть слышно доносится сквозь треск разрядов.

Наконец прямо по курсу показывается гора Жучка. Проскакиваем над ней в десятке метров, и сразу вижу аэродром.

Облачность опускается совсем низко. Летим на высоте тридцати метров.

— Земля, разрешите посадку с прямой. Круг делать некогда, облачность опускается. Как ветер? — спрашиваю я.

— Ветра нет. Добро посадку с прямой.

Я выпускаю шасси и убираю газ. Капли дождя начинают падать на фонарь кабины. Струя воздуха из-под винта уже не распыляет их. Они касаются пластмассового колпака и тоненькой ниткой продергиваются вдоль кабины.

Выпускаю тормозной щиток, и через минуту самолет бежит по аэродрому, постепенно замедляя ход. Вот и все.

Заруливаю на стоянку, выключаю мотор и устало откидываюсь на спинку сидения. В кабине тепло и уютно. Снаружи шпарит, дождь и стучит по звонким крыльям. Маршрутный полет окончен.

ДОЖДЬ, дождь, дождь. В палатке сыро и холодно. Курсанты ходят в шинелях. Совсем осень.

Пять дней шли дожди. И только, на

шестой проглянуло солнце; Курсанты повеселели.

Командир отряда целый час вышагивал по аэродрому, заложив руки за спину. Когда он вернулся к палаткам, его окружили инструкторы.

— Через полчаса подсохнет, тогда и начнем.

— По самолетам! — звонко пропел Лебедев.

Я помог Пашке Рубаеву надеть парашют. В заднюю кабину сел инструктор. Пашка должен лететь по маршруту.

Техник торопливо искал, что-то в ящике с инструментом. Когда была дана команда запускать моторы, он сердито хлопнул крышкой и подошел к машине.

— Товарищ командир, лететь нельзя.

— В чем дело? — нахмурился Астахов, высовывая из кабины голову.

— Отвертку потерял. Перерыл весь инструмент — нигде нету. А вчера я в кабине работал.

Инструктор отстегнул ремни и отбросил их на борта кабины.

— Хорошо хоть спохватился вовремя.

Техник виновато опустил голову.

— Через полчаса машина, будет готова, товарищ командир. Я только посмотрю, не завалилась ли она...

— Через полчаса я должен пройти треть маршрута, — перебил, его Астахов, вылезая из кабины. — Расчехляйте «тридцатку». Пять дней на земле сидели, теперь некогда прохладиться.

Командир отряда разрешил лететь по маршруту на «тридцатке». Это была старая машина, летать в ней на пилотаж запрещалось, и она стояла в самом конце линейки, дожидаясь, когда ее спишут.

Ровно три минуты потребовалось нам, чтобы расчехлить самолет, дозаправить его сжатым воздухом и помочь Пашке Рубаеву запустить мотор.

Инструктор стоял в стороне, наблюдая за четкой и стремительно-точной работой курсантов.

Положив журнал на крыло, техник торопливо заполнял документацию. Наконец он выпрямился.

— Машина к полету готова!

— Отлично. Шibaев, поможете технику найти отвертку и сразу идите в зону. Задание — комплексный пилотаж. Остальным на старт. Вопросов нет? Выполняйте.

Я открывал поочередно все лючки и шарил внутри фюзеляжа рукой, а техник внимательно простукивал пальцем днище самолета. Я был уверен, что он потерял отвертку не в кабине, но пока не будет прощупан каждый сантиметр фюзеляжа — лететь нельзя. Если отвертка здесь, в полете она может заклинить рули и... я наткнулся пальцами на что-то острое и вытащил отвертку из гнезда, где был закреплен штурвал.

— Вот она, сволочь, куда залезла.

Все самолеты в воздухе. На земле остался один я. Техник вытирает ветошью руки. Я кивнул на заднюю кабину.

— Садись, подвезу до старта.

— Мне еще к инженеру надо. У мотора ресурс кончается. Второй парашют не забудь отдать ребятам. Я его в кабину бросил.

Техник ушел. Но я не спешил лезть в кабину. Не торопясь, я затянул лямки парашюта, подогнал на горло ремешок ларингофона, завел самолетные часы.

Было особое наслаждение в том, чтобы все делать не торопясь и оттянуть на несколько минут ту долгожданную секунду, когда самолет последний раз оттолкнется колесами от земли и повиснет в воздухе. Приятно сдерживать собственное нетерпение, когда никто не приказывает его сдерживать и машина полностью, предоставлена в твое распоряжение.

Наконец я прыгнул в кабину.

Эх, видели бы меня сейчас мои школьные приятели, моя «классная дама», которая так и не поняла, почему я в семнадцать лет продолжаю мечтать о том, о чем обычно перестают мечтать в этом возрасте.

Разве она знает, что такое настоящее солнце, настоящий ветер, настоящее счастье!

Я нажал пусковую кнопку. Винт вздрогнул, качнулся и превратился в блестящий круг. Из выхлопных

патрубок полетели пульсирующие струи белого дыма. Они становились все прозрачнее по мере прогрева мотора.

Я осмотрелся, нет ли впереди препятствий, и дал газ. Препятствий не было. Чуть в стороне от стоянки, тяжело опираясь на палку, бродил комендант, собирая брошенные курсантами замасленные тряпки, бумажки и прочий мусор. Он уже неделю ходил с палкой.

Я проскочил мимо него, и вдруг у меня мелькнула отчаянная мысль. Резко затормозив, я открыл фонарь и махнул рукой.

Ярцев быстро подошел к самолету, крикнул:

— Чего тебе?

Я засмеялся и показал рукой на заднюю кабину:

— Садитесь!

Ярцев побелел.

— Над чем смеешься, сволочь! — не столько услышал, сколько догадался я по движению его губ.

«Думает, что издеваюсь», — понял я и зарорал громче прежнего:

— Садитесь, говорю!

Теперь Ярцев понял, что я не шучу. Несколько секунд он стоял неподвижно, затем одним прыжком очутился возле кабины.

— Парашюта нет!

— В кабине лежит! Шлемофон запасной в багажнике!

Ярцев быстро залез в кабину, застегнул на груди замок парашюта и натянул на голову шлемофон. Палка вылетела из кабины и закувыркалась по траве.

«Попадусь — наверняка выгонят», — подумал я и дал газ.

Вырулив на старт, я запросил по радио разрешение на взлет.

— Третьему взлет добро!

«Не заметил, не заметил!» — ликовал я, когда самолет оторвался от земли.

— Дай я! — хрипло попросил Ярцев. — Дай попилотировать.

Я выпустил из рук штурвал. Пилотировал Ярцев. Я ему не мешал. В зоне он дважды срывался в штопор, но выводил машину из штопора сам.

Когда, закончив пилотаж, мы уже заходили на посадку, с земли приказали:

— Третий, заруливай на заправочную, пора заправляться.

Я дублировал команду:

— Третий понял, зарулить на заправочную.

Земля все ближе, ближе. Я не оглядываюсь, но по нервным движениям штурвала вижу, что Ярцев волнуется, и незаметно помогаю ему посадить самолет. Толчок!

Сразу начинаю тормозить и быстро заруливаю на заправочную, стараюсь держаться подальше от КП.

Выключаю мотор и выскакиваю из кабины. Кажется, обошлось.

Ярцев уже на земле, без парашюта и шлемофона. Он молча кладет мне на плечи руки, но я инстинктивно понимаю, что не надо сейчас благодарить меня, нельзя благодарить за это.

Он тоже все понял, нахмурился и строго приказал:

— Ты все же пришей воротник-то. Гимнастерка государственная, мне ее сдавать, надо. Понимаешь?

— Слушаюсь, товарищ... командир, — запнулся я на секунду. Всего лишь на одну секунду.

О ПРИБЛИЖЕНИИ осени, напомнили журавли. Они плыли высоко над убранными полями, над потемневшими озерами, над желтеющими лесами; изредка долго кружились на одном месте, словно, сверяя свои маршрутные карты с наземными ориентирами, затем снова вытягивались клином и уплывали на юг, к голубоватым вершинам гор. Наступал сентябрь.

И тут меня настигла беда. Она подкралась незаметно и ударила неожиданно и без промаха.

Занимаясь на турнике, я почувствовал боль в пояснице. После пилотажа боль повторилась. Ничего не сказав аэроклубному врачу, я отпросился у инструктора и ушел в город, в поликлинику.

Около регистратуры стояла большая очередь. Я стал в конец, но сердобольные

старухи решили пропустить «солдатику» без очереди.

Врач выслушал меня и направил в лабораторию сдавать анализы.

На другой день я снова ушел в город. Три раза подходил к поликлинике и только на четвертый раз заставил себя войти и постучать в знакомую дверь.

За письменным столом сидел пожилой лысый мужчина. Он был толст и мучился от жары, истекая потом. Перед ним лежала зеленая бумажка — результат медицинского анализа. Кротко блеснув на меня стеклышками пенсне, он решительно положил на нее пухлую ладошку с рыжими волосками на пальцах и сказал:

— Вот что, юноша. Это весьма неприятно, но летать вам нельзя, — и начал сыпать медицинскими терминами, в которых я ничего не понимал.

Воротник гимнастерки сдавил мне шею, я расстегнул пуговицу.

— Но мне можно летать еще три дня? — умоляюще спросил я. — До экзаменов?

Врач развел руками, соболезнуя мне всем своим видом.

— Увы, юноша, я не имею права позволить это. Сегодня же я позвоню на аэродром, чтобы вас отпустили без волокиты. Вы можете взлететь, но ваша посадка будет падением, — и улыбнулся, довольный собственной фразой.

Я вздрогнул и пристально посмотрел в его добродушные глаза.

— Не звоните, товарищ врач.

— Почему? — удивился он.

Наши взгляды встретились.

— Вы сами летали когда-нибудь? — шепотом спросил я.

— Нет, бог хранил, — ответил он.

— Тогда вы, конечно, не разрешите мне долетать. И просить вас об этом бесполезно, — я повернулся и пошел к двери.

— Погодите, юноша!

Я остановился. Врач смотрел на меня сердитыми глазами.

— Если вам очень хочется свернуть себе шею, это ваше личное дело. Можете считать, что вы у меня не были и я ничего вам не говорил. Но запомните:

только три дня, и никогда больше не садитесь за руль самолета.

ПОСЛЕ отбоя мне долго не удавалось заснуть. Я ворочался, прятал голову под подушку, считал до тысячи — все было бесполезно. Я толкнул локтем спящего соседа:

— Дай папиросу.

— Ты же не куришь, — сонно пробормотал, он, доставая из-под подушки пачку «Беломора».

Я закурил, глядя широко открытыми глазами в темноту.

Ушел из авиации Сашка, ушел Николай Ковалев, уйду я. Каждый — по-своему.

Мать сначала огорчится, а затем даже обрадуется, что я не буду летать и стану «нормальным» человеком. Найду себе спокойную работу и начну жить так, как хотят те, кто желает мне добра.

Но я не найду себе спокойную работу и не стану рассудительным, «нормальным» человеком. Я всегда буду жить так, чтобы каждый день — словно жизнь заново начинается.

Приятели будут подшучивать, считая, что я потерпел поражение. И никто из них не догадается, что я одержал, пожалуй, самую главную победу в жизни.

Утром я тщательно осмотрел парашют, проверил прочность привязных ремней, аккуратно затянул ремешки педалей.

Я не собирался делать эту фигуру, откладывая ее на будущее. Это был рубеж смелости, который казался мне почти недоступным. Теперь откладывать нельзя. У меня остался один-единственный рубеж, хотя еще позавчера их было очень много. Взять остальные я просто не успею. Их будут брать те, кто сейчас летает рядом со мной.

Сделав круг над аэродромом, я ушел в зону. Под крылом лежала станция «Белый уголь». Внизу по шоссе ползли крохотные автомашины. Людей нельзя было разглядеть.

Давно осталась внизу высота 1 500 метров, безопасная высота пилотажа, а я все лез и лез вверх. Две пятьсот. Теперь можно.

Вокруг был мир, ставший привычным и необходимым: ревущий ветер высоты, тугие лямки пилотского парашюта, упругая податливость штурвала на пилотаже. Через неделю все это будет в прошлом. Пора начинать свой последний пилотаж.

Переворот, петля, еще петля, иммельман, виток штопора, петля, боевой разворот, глубокий вираж, переворот с виража, «бочка» на пикировании, восходящая «бочка» — все!

Больше нельзя терять высоту. Осталось две тысячи триста метров.

Как Можно дальше засовываю носки сапог под ремешки педалей. Если на перевернутом штопоре нога соскользнет с педали — это гроб.

Переворот, петля. Не дать самолету опустить нос и перейти в пикирование. Штурвал до отказа от себя.

Лечу вверх колесами, теряя скорость. Педаль! Машина переворачивается через крыло и с большой потерей высоты выходит в нормальное положение.

Не хочет. Вместо перевернутого штопора получился неуклюжий иммельман. Чувство слитности с машиной исчезает. Самолет существует сам по себе и не хочет выполнять мою волю. Не хочет? Заставлю!

Петля, завис, земля над головой. Педаль! Машина снова вывернулась на иммельман с потерей высоты.

Ах так? Ну держись! Петля, штурвал резко от себя и рывком правую педаль вперед. Началось! Штурвал дергается в руках, машина дрожит и валится вниз, не опуская нос. Земля поплыла, начиная вращаться. Отлично. Перевернутый штопор.

Виток, второй, третий. Пора выводить. Педали нейтрально, штурвал до отказа на себя.

Кровь приливает к голове, привязные ремни больно врезаются в плечи. Штопорит, проклятая!

На всякий случай хватаю левой рукой замок фонаря кабины. Если не выведу до пятисот метров — буду прыгать.

Девятьсот, восемьсот, семьсот... Газ! Надо убрать газ, ведь машина не выходит

из перевернутого штопора с газом.

«Прыгай! Выводить поздно. Прыгай!» — шепчет мне страх. Но я крепко держу штурвал и жду, жду, стараясь не смотреть на землю.

Наконец вращение прекращается. Самолет почти отвесно пикирует к земле. Я по-прежнему прижимаю штурвал к животу.

И вдруг машина кувыркается через крыло и снова начинает штопорить. Но на этот раз земля крутится не над головой, а внизу. Нормальный штопор. Забыл отдать штурвал от себя и сорвался. До земли не более трехсот метров. Два витка, и все будет кончено. Мгновенно рули на вывод.

Земля прекратила вращение и стремительно летит на меня. Надо пикировать, иначе опять сорвусь в штопор. Теперь можно плавно тянуть штурвал на себя. Только очень плавно. Хватит ли высоты для выхода из пикирования? Должно хватить.

Земля уже не летит на меня, а все быстрее уходит назад, под крылья. Слизываю кровь с прикушенной губы и смотрю вниз. До земли метров пятьдесят.

Под крылом мелькает белое здание станции, рельсы, цистерны, задранные вверх лица людей. Им пришлось изрядно поволноваться, глядя на мой штопорящий самолет. Смотреть на меня с земли было страшнее, чем сидеть в кабине. Я-то еще мог бороться, а они вынуждены были ждать, что я сейчас врежусь в землю, и чувствовать, что ничем не могут помочь мне.

Пролетая над ними, я приветственно покачал машину с крыла на крыло.

Набирая высоту, ухожу на аэродром. По всему телу разливается блаженное ощущение легкости и свободы. Капитан Лебедев ошибся. Перевернутый штопор — это еще не гроб с музыкой. Тем более, если сам командир звена показывает, как надо делать эту фигуру.

Выпускаю шасси и захожу на посадку. Земля! Самолет бежит по аэродрому, мягко подпрыгивая на выбоинах посадочной полосы.

На старте меня ждет инструктор. Когда

я заруливаю, он поднимает над головой скрещенные руки. Я выключаю мотор. Подходит Лебедев.

— Что случилось? — строго спрашивает он.

Опираясь грудью на крыло, молчит инструктор.

— Завис на петле, сорвался в перевернутый штопор. Забыл убрать газ. Вывел перед землей,— медленно покраснел я.

— А ты знаешь, что у меня после каждого такого фокуса десять седых волос на голове прибавляется? — спрашивает Лебедев, показывая на свою совсем седую голову и, не дожидаясь моего ответа, продолжает: — Надо бы с тебя за это дело семь шкур спустить, да некогда. Завтра экзамены. Газ убрать забыл! Учебник-то читал перед полетом?

— Читал, товарищ командир!

— И никто тебе не показывал, как вводится машина в перевернутый штопор? — недоверчиво спрашивает Лебедев.

— Показывал. И как выводится — показывал.

— Кто?! — Лебедев подозрительно смотрит на инструктора.

— Вы, товарищ, командир!

Инструктор хохочет. Лебедев свирепо смотрит на него и вдруг тоже начинает смеяться:

— Нашел виноватого! Ладно, иди отдыхай. А выговор за воздушное хулиганство я тебе все-таки влеплю.

«Теперь мне это не страшно», — подумал я, отходя от самолета.

ЭКЗАМЕНЫ я сдал отлично и в тот же день забрал документы, показав анализы врачу и объяснив все инструктору и командиру отряда.

Карпов долго, очень долго изучал анализы, затем поднял голову и сердито посмотрел на меня:

— Нос не вешать! Раскис! Первая неудача — и раскис. Стыдно!

Он встал из-за стола, подошел ко мне.

— В жизни есть много дел, не менее интересных, чем профессия летчика.

Самое главное не разменяться, найти такое дело, чтобы душу в него целиком вложить. И чтоб, если браться за что, так жить, как мотор на взлетном режиме. На полную железку... Только перевернутых штопоров сразу не делай, научись сперва.

Карпов явно не умел произносить сочувственные речи.

До отъезда надо было разыскать интенданта и сдать ему казенное обмундирование. Я нашел Ярцева на самолетной стоянке, около техников. Выслушав меня, он кивнул головой.

— Пойдем.

В каптерке было сыро и холодно. Ярцев сел на табурет, достал из стола мою вещевую карточку.

— Тебя, значит, Дмитрием зовут?

— Да.

Помолчали.

— Что ж, Дмитрий. Тяжело. Знаю. Но ты ведь летчик.

— Отлетался.

— Отлетался? Я раньше тебя отлетался. Скоро уж четырнадцать лет, как отлетался. И до сих пор считаю себя летчиком. Понял? Держи! — Ярцев протянул мне вещевую карточку. — Домой явишься в полной форме, как и положено летчику.

На мгновение у меня перехватило дыхание. Как он узнал? Как он узнал, что это было моей заветной мечтой — явиться домой в полной форме, как и положено летчику?

— Товарищ командир... но ведь это запрещено.

Ярцев понимающе улыбнулся.

— Ничего, Митя. Внеочередной наряд мне за это не дадут. И на «губу» не посадят. Езжай домой и... всегда будь летчиком.

Вечером пошел дождь. Не гроза, а тихий осенний дождь. Я собрал свои пожитки, положил в рюкзак томик Лермонтова и кусок плексигласа, который подобрал на месте Сашкиной гибели.

Сразу после экзаменов ребят отпустили в город. В палатке были только я и Пашка Рубаев. Пашка переживал мою

беду молча, и я был благодарен ему за то, что он не пытается утешать меня.

Пришел Жора Остапенко. Он тоже все знал. Вынув из кармана шинели бутылку водки и алюминиевую кружку, Жора вздохнул:

— Ну что ж, командир. Выше нос, ты ведь для нас примером быть должен, как говорил

Валька. Выпьем.

Выпили, передавая кружку из рук в руки. Помолчали.

— Спой что-нибудь на прощанье, — попросил я.

Жора сходил в свою палатку за гитарой, положил ее на колени, начал настраивать. Хорошая у него была гитара, старая, с перламутром. И душа у нее была звонкая, певучая. Такая, что уж если веселиться — так до упаду, а если грустить — то и водкой не зальешь.

Дывлюсь я на небо

Та й думку гадаю:

Чому я не сокил,

Чому не летаю,

Чому мени, боже, ты крыла не дав...

Эту песню часто пел Валентин. Ее любит Астахов. И командир звена. Лебедев. И капитан Ярцев. И все те, кто знает, что линия горизонта всегда впереди, с какой бы скоростью ты ни летел.

Я прижал ладонью гитарные струны. Врешь, Жора! Врешь! Сам знаешь, что врешь. Наши полетные карты не влезут ни в какой планшет, и новые маршруты мы будем прокладывать всей своей жизнью.

Нам врать нельзя!

Утром я уходил с аэродрома. Около самолетов возились техники. Моросил мелкий, словно просеянный, дождь.

Я смотрел вокруг и старался навсегда запомнить зачехленные потемневшим от дождя брезентом учебные истребители, капли воды на черно-глянцевых лопастях винтов и низкие серые облака над Пятигорьем.

Я шагал с аэродрома в Ессентуки, разбрызгивая сапогами грязь, а навстречу мне, торжественные и озабоченные, шли первоклассники. Жизнь только начиналась.

Мне больше никогда не придется сесть за штурвал самолета. Ну и что же?

Ведь у меня есть крылья, И я взлечу. Обязательно взлечу!

Конец.